



раймон арон **ЭССЕ О СВОБОДАХ**



ИДЕОЛОГИИ

raymond aron

# **ESSAI SUR LES LIBERTÉS**

Calmann-Lévy, Paris 1965

раймон арон

# **ЭССЕ О СВОБОДАХ**

Праксис  
Москва 2005



ББК 87.3

А 84

**Арон Р.**

**А 84** Эссе о свободах. // Пер. с франц. Н. А. Руткевич. — М.: Праксис, 2005. — 208 с.

ISBN 5-901574-44-3

Раймон Арон широко известен как крупный социолог, публицист и идеолог либерализма. Его книги переведены на многие языки и получили широкое распространение в Европе и в США. Публикуемая работа является классическим текстом либеральной политической философии XX века.

ББК 87.3

© Editions Calmann-Levy, 1965

© Перевод с французского  
Н.А. Руткевич

© Оформление обложки  
А. Кулагин

© Праксис, 2005

ISBN 5-901574-44-3

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Введение</b>	9
<b>Глава первая</b> <i>Алексис де Токвиль и Карл Маркс</i>	13
<b>Глава вторая</b> <i>Формальные и реальные свободы</i>	51
<b>Глава третья</b> <i>Политическая свобода и техническое общество</i>	100
<b>Заключение</b>	142
<b>Послесловие (1977)</b>	162
<b>Приложение (1977)</b>	181
<b>Примечания</b>	191

Эта книга представляет итог лекций, прочитанных в апреле 1963 г. в Калифорнийском университете (Беркли). Поскольку лекции были организованы Комитетом «Jefferson Lectures», естественно, что я выбрал темой свободу и решил вновь обратиться к давнему спору о формальных и реальных свободах. Какую оценку можно дать идее, получившей известность благодаря марксистам, согласно которой политические, личные, интеллектуальные свободы на деле не имеют значения и только революция, затрагивающая собственность на средства производства, способна гарантировать реальную свободу?

Я постарался ответить на этот вопрос, применив трехчастный анализ. В первой главе я обратился к происхождению этого спора и сопоставил доктрины Алексиса де Токвиля и Карла Маркса, соотнес их также с сегодняшним днем. Там, где формальные свободы были подавлены, например в Восточной Европе, они представляются людям, их лишенным, в высшей степени реальными. Вместе с тем верно и то, что в некотором смысле мы все марксисты: все современные общества пытаются установить такой строй, который отвечал бы их идеалу, и отказываются покориться судьбе.

Во второй главе я исследую современный демократический и либеральный синтез — формальные свободы, общественные законы, гибкое планирование — и критику, против них направленную: критику либералов, с одной стороны, и недовольных социалистов — с другой.

Наконец, в третьей главе я задаюсь вопросом, совместимы ли нужды технической цивилизации и политическая свобода, если понимать политическую свободу в прямом смысле слова, то есть как участие граждан и их избранных в общественных делах.

Эта небольшая работа, как и предыдущие, относится к исследованию, которое я провожу уже давно, — исследованию современной цивилизации. Я позаимствовал у мыслителей прошлого проблемы, которые актуальны и поныне, так как это проблемы вечные, но ответ на них я ищу в наблюдении над реальностью. После прочтения лекций на английском языке я дополнил их на французском. Они были изданы в 1965 г. Возможно некоторое отклонение глав этой книги от импровизированных лекций, но ведь это всего лишь эссе, посвященное вечной, неисчерпаемой проблеме.

Для настоящего переиздания я не изменил текст 1965 г. Мне кажется более честным, да и более интересным делом указать в послесловии и в примечаниях те наблюдения, к которым я пришел, сравнивая прошлое и настоящее.

## ВВЕДЕНИЕ

Сначала, дабы выразить свою признательность Калифорнийскому Университету и Комитету «Jefferson Lectures», я хотел бы поговорить с вами о самом Томасе Джефферсоне. Увы, мое знание об этом великом человеке не превосходит знаний обычного европейца, который давно открыл для себя Америку, но не посвятил себя ни политической, ни интеллектуальной истории США. Однако знание среднего европейца (не ищу ли я себе извинений?) кажется мне удивительно посредственным. Во Франции редко встретишь историка, который бы выбрал Соединенные Штаты областью своего исследования. У меня такое чувство, что Америка, и особенно США, были, по крайней мере до недавнего времени, скорее предметом мечтаний, мифов, страстных стремлений, нежели объектом исследований. И может быть, совсем не случайно то, что темой недавно защищенной в Сорбонне солидной диссертации была не Американская Республика начала прошлого века, а образ этой Республики у французов<sup>1</sup>.

Эта диссертация — «США: взгляд французской общности» — побудила меня сделать шаг для исправления моего невежества. В отсутствие необходимости говорить вам о Томасе Джефферсоне я решил, что мне следовало бы говорить о свободе; свобода была для него, на мой взгляд, высшей ценностью. С другой стороны, его представление о совершенном обществе было довольно далеким от урбанистического и индустриального общества, в котором мы сегодня живем. Тогда, если мы обратимся к идеалам Просвещения и идеалам *founding fathers*<sup>2</sup> и сопоставим их с сегодняшними реалиями, то, я полагаю, мы зададимся вопросом, интересующим всех нас: каким образом в эпоху термоядерных бомб и электронных машин сохраняется вдохновение тех, кто учреждал Американскую Республику? Американская Конституция, хотя и с многочисленными поправками, остается

той же, что была принята в конце XVIII в. людьми, которые подписались бы под знаменитой фразой Джефферсона:

We hold these truths to be sacred and undeniable; that all men are created equal and independent, that from that equal creation they derive rights inherent and inalienable, among which are the preservation of life, liberty, and the pursuit of happiness.

По-моему, невозможно сделать подобное сопоставление идеалов Просвещения и сегодняшней реальности применительно к Франции. У нас было слишком много республик и слишком (или недостаточно) много *founding fathers*. У нас было много конституций, и ни одна не просуществовала долгое время. Демократия и либерализм (либерализм в европейском смысле) многократно разъединялись. Одни провозглашали себя выразителями воли народа, чтобы подавить личные свободы и представительские институты. Наполеон III на следующий день после государственного переворота восстановил всеобщее избирательное право, отмененное народными представителями. Слишком часто демократы заявляли: никакой свободы для врагов свободы — лозунг, оправдывающий любой деспотизм. Слишком часто защитники свобод не были демократами, заботясь больше об ограничении власти народа и о сохранении каких-то пережитков прежнего режима, чем об основании постреволюционного государства, в котором каждый гражданин обладает избирательным правом. Неотделимые друг от друга, по замыслу отцов-основателей Американской Республики, демократия и свободы многократно расходились во Французской Республике со времен революционной бури. Поэтому политическая философия тоже не переставала вопрошать о судьбе режимов, для которых суверенитет народа является принципом легитимности, а личные свободы, по крайней мере, — одной из конечных целей.

Поставив проблему таким образом, я вспомнил имя мыслителя, который принадлежит не меньше, а может быть и больше, истории США, чем истории Франции, — Алексиса де Токвиля. Ни один иностранец, на мой взгляд, не оказал такого влияния на представление граждан



США о самих себе и о своей Республике, какое оказал автор «Демократии в Америке» — книги, которую знает, по крайней мере в отрывках, любой школьник от Нью-Йорка до Сан-Франциско и о существовании которой неизвестно столь многим французским студентам. Токвиль не знал индустриальной Америки. Америка, которую он описывал, уже была в момент его наблюдений отчасти в прошлом. Возможно, он, как и Джефферсон, боялся огромных городов с их сутолокой, но он не сомневался, во всяком случае, в том, что США, не желая оставлять Европе монополию на мануфактуры и промышленный труд, уже безвозвратно вступили на путь экономического развития и технического прогресса. Он не мог сказать ничего оригинального ни о том, ни о другом. Но он наблюдал за этими явлениями, признавая, что эксплуатация природных ресурсов — это первые шаги эмигрантов, прибывших на чужую землю без средств к существованию. Не меньшее внимание уделялось им союзу демократии и свободы, осуществленному в Новом Свете, — союзу, впрочем, всегда непрочному у него на родине.

Наконец, если бы мне был нужен последний аргумент, то достаточно было привести одну цитату. В первом томе «Демократии в Америке» Алексис де Токвиль цитирует следующую фразу Джефферсона (письмо Мэдисону от 15 марта 1789 г.):

Исполнительная власть в нашем государственном устройстве — это не единственная и даже не главная моя забота. Сейчас и еще в течение многих лет самую большую опасность будет представлять тирания законодателей. Исполнительная власть тоже может стать тиранической, но это случится позже.

И далее замечает:

Говоря об этом, я всегда цитирую Джефферсона, а не кого-либо другого, так как считаю его самым крупным поборником демократии<sup>3</sup>.

Токвиль является одним из наследников Монтескье. Как и автор «Духа законов», он одновременно и философ, и социолог. Социолог — поскольку пытается понять разнообразие обычаев, законов, политических режимов.

Философ — поскольку изучение этого разнообразия не является самоцелью, оно не исключает ценностных суждений. И тот и другой рассматривают и объясняют, но также одобряют и осуждают. Конечно, если бы Монтескье последовательно придерживался одной из тенденций своего учения — социального детерминизма, — то он отказался бы и от восхвалений, и от обвинений и показал бы необходимую связь между обстоятельствами и институтами, даже самыми ничтожными. Однако достаточно воскресить в памяти те знаменитые красноречивые строки, в которых Монтескье осуждает рабство, чтобы убедиться, что из следующей фразы: «Законы — это необходимые отношения, которые вытекают из природы вещей» — он не делает вывода о том, что худшее иногда неизбежно и что все существующее в каком бы то ни было обществе не может не существовать. Социальный детерминизм, как его мыслит Монтескье, не мешает людям самим решать свою судьбу, как не запрещает он и ученым оценивать поведение людей и сообществ в зависимости от нравственных законов, высших или предшествующих, фактической морали.

Что касается Токвиля, то он в последних строках «Демократии» подытоживает свою философию детерминизма и свободы:

Провидение сделало так, что род человеческий не совсем независим, но и не так уж закабален. Провидение, и это правда, очерчивает каждому человеку некий фатальный круг, который он не может преступить, однако в широких границах этого круга человек свободен и всемогущ. То же относится и к народам. Сегодня нации уже не могут отказаться от равенства, но от них зависит, приведет ли оно их к рабству или к свободе, к просвещению или к варварству к процветанию или к нищете<sup>4</sup>.

Именно так я хотел бы сформулировать проблему для курса этих лекций. Сохранится ли свобода в обществе, в котором условия все более уравниваются? Это было главным вопросом для Алексиса де Токвиля. Чем становится или чем станет свобода в обществе, увлеченном экономическим ростом и техническим прогрессом? Это и станет основным вопросом наших лекций.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### АЛЕКСИС ДЕ ТОКВИЛЬ И КАРЛ МАРКС

Научный словарь Токвиля не лишен двусмысленности, и два слова, употребляемые им чаще всего, не имеют строгой дефиниции и не всегда используются в одном и том же значении. Тем не менее ход его мысли, как мне кажется, нетрудно уловить.

В большинстве случаев термином «демократия» Токвиль обозначает *состояние общества*, а не *форму правления*. Демократия противопоставляется аристократии. Старый режим основывался на неравенстве условий, на земельном дворянстве; ибо всякая подлинная аристократия является в конечном счете территориальной, потому что только собственность на землю обеспечивает ей необходимую преемственность. Конечно, в «Демократии в Америке» Токвиль упоминает и ту аристократию, которую может породить промышленность.

Следовательно, по мере того как основная масса населения страны идет к демократии, отношения в конкретной группе людей, занятых в промышленности, становятся все более аристократическими. Если в обществе в целом различия между людьми все более и более стираются, то в промышленном классе они выявляются со все большей определенностью, причем неравенство здесь усиливается настолько, насколько оно уменьшается во всем обществе<sup>5</sup>.

Но если верно, что в мире промышленности несколько богатейших людей противостоят очень бедному большинству, то Токвиль почти не верил ни в то, что эти очень богатые люди способны образовать настоящую аристократию, ни в то, что контрасты, очевидные в небольших индустриальных обществах, могут быть символом или знаком того, что произойдет в крупном индустриальном обществе. Есть богатые, писал он, но не существует класса богатых,

ибо эти богатые люди не имеют классового сознания или общих целей, традиций, ожиданий. У этого дерева есть ветви и листья, но нет единого ствола... Не только богатые не объединены прочно друг с другом, но и, можно сказать, что нет никакой истинной связи между богатыми и бедными... Предприниматель ничего не требует от рабочего, кроме его труда, а рабочий ничего не ожидает от предпринимателя, кроме зарплаты. Земельная аристократия минувших веков была обязана по закону или же считала себя морально обязанной приходить на помощь своим подданным, облегчая их бедственное положение... Рабочий и хозяин общаются часто, но между ними не устанавливаются никакие подлинные взаимоотношения. Говоря в целом, промышленная аристократия, набирающая силу на наших глазах, — одна из самых жестоких, когда-либо появлявшихся на земле, однако в то же самое время ее власть весьма ограничена и не столь опасна<sup>6</sup>.

Демократия, в трактовке Токвиля, основывается на отрицании аристократии, исчезновении привилегий, стирании различий между сословиями на постепенно усиливающейся тенденции экономического равенства и единого образа жизни. Вместе с аристократией исчезают отношения «хозяин — слуга», руководство, связанное с обязательством оказывать покровительство. Богатство и власть постепенно разъединяются. Труд становится почетной обычной деятельностью всех и каждого. Аристократия презирует труд с целью наживы. В демократических обществах два понятия — труда и прибыли — больше не разъединяются. И служащий, и президент — все получают заработную плату. «За управление страной ему платят так же, как им за службу».

Таково самое распространенное и очевидное значение, которое обретает термин «демократия» под пером Токвиля, но при этом он все же осознает различие между определением демократии как состояния общества и традиционным определением демократии как типа режима. Разве монархия, аристократия, демократия не обозначают, согласно вековой традиции, суверенитет одного, нескольких, всех? Текст, обнаруженный в бумагах Токвиля и опубликованный Ж.-П. Майером во II томе «Полного собрания

сочинений» в «Старом Порядке и Революции», показывает колебания Токвиля, разрывающего связь между социальным и политическим определением демократии.

Можно сказать, что государство, управляемое самодержцем, назовут демократией, если он будет править посредством законов и с помощью учреждений, улучшающих условия жизни народа. Его правление будет демократическим правлением. Он установит демократическую монархию. Однако слова «демократия», «монархия», «демократическое правление» могут означать только одно: правление, при котором народ принимает большее или меньшее участие в правлении. Значение слова «демократия» тесно связано с идеей политической свободы. Находить эпитет «демократическому» правлению, при котором нет политической свободы, — это явный абсурд (если следовать естественному смыслу слов). Применять ложные или, по меньшей мере, неясные выражения заставляет, во-первых, желание создать иллюзию для толпы, поскольку понятие «демократическое правление» всегда пользовалось у нее успехом, во-вторых, действительное затруднение, связанное с подбором нужного слова для выражения такой достаточно сложной идеи, как эта: самодержавное правление, при котором народ не принимает никакого участия в общественных делах, но высшие классы не пользуются привилегиями, и законы призваны улучшить, насколько это возможно, его благосостояние<sup>7</sup>.

Этот отрывок значится в главе, которую Токвиль должен был посвятить деятельности Учредительного Собрания. Так, пишет он, «сколько бы я ни исследовал свод законов Учредительного Собрания, я постоянно обнаруживаю их двойственный характер: либерализм, демократия — и это возвращает меня к печальной действительности». Когда он писал эти строки, он находился в добровольной ссылке вне Франции вследствие государственного переворота Луи-Наполеона и восстановления империи. Имперский режим, не аристократический и не демократический, представлял собой деспотию, наложенную на общество с демократическими устремлениями. Сразу после поражения 1870 г. Эрнест Ренан также поставил под сомнение демократию или ложное представление о ней. Чтобы упредить

злоупотребление словом «демократия» ораторами деспотического режима, Токвиль напоминает, что общество, к которому стремились члены Учредительного Собрания, должно было быть одновременно и демократическим, и свободным — «обществом не военным, а гражданским». В главе, названной «Идеи 1789 года», Токвиль, говоря об Учредительном Собрании, выражает восхищение «справедливостью его главных позиций, подлинным величием его замыслов, великодушием, возвышенностью чувств, *восхитительным единством пристрастия к свободе и равенству...*». Таким образом, этот фрагмент вписывается в общую концепцию Токвиля.

Как бы то ни было, вчерашняя аристократия обречена; даже при деспотическом режиме законы могли быть созданы с целью максимально возможного улучшения благосостояния народа. Но, даже если современные деспотические общества сохраняют некоторые демократические черты, все равно дух Французской революции, как и дух американского общества, имеет тенденцию к соединению *демократии и либерализма, равенства и свободы*.

Какое же значение придавал Токвиль слову «свобода», слову, столь широко используемому и столь двусмысленно понимаемому, поскольку во все времена люди требуют во имя свободы власти, которой они считают себя несправедливо обделенными, протестуют во имя свободы против реальной зависимости? Самое ясное определение свободы содержится у Токвиля, на мой взгляд, в эссе о «Социальном и политическом положении Франции до и после 1789 г.», опубликованном в 1836 г.:

Согласно современному, демократическому и, осмелюсь сказать, верному пониманию свободы, в принципе, каждый человек получил от природы разум, необходимый ему для устройства своей жизни, и от рождения имеет неотъемлемое право жить независимо от себе подобных во всем, что касается только его, и решать свою судьбу по своему усмотрению<sup>8</sup>.

Определенная таким образом свобода одновременно негативна и неопределенна. Негативна — потому, что она выражается через независимость, выбор каждым своей судьбы. Неопределенна — потому, что еще нужно выяснить, до

каких границ простирается для каждого то, «что касается только его». Эта свобода по отношению к другим — *freedom from* — имеет также (и по другим текстам) позитивное содержание, это свобода в чем-либо, *freedom to*. Свобода-независимость, которую Монтескье называл безопасностью или отсутствием произвола, реально существует только как чисто политическая свобода и проявляется в участии гражданина в управлении местными делами и в руководстве общественной деятельностью. Итак, Токвиль считает политическую свободу, уничтожаемую деспотизмом, даже когда он ссылается на демократию, высшей ценностью. Эта горячая привязанность к политической свободе наверняка объясняется личными мотивами. Но сам он дает чисто социологическое оправдание своей страсти. В демократических обществах

желание обогатиться любой ценой, вкус к деловым операциям, стремление к получению барыша, беспрестанная погоня за благополучием и наслаждениями являются здесь самыми обычными страстями. Они с легкостью распространяются во всех классах, проникая даже в те сферы, которые были им ранее совершенно чужды, и, если их ничего не остановит, в скором времени могут привести к полной деградации всей нации. Итак, самой природе деспотизма свойственно как разжигать, так и заглушать эти страсти<sup>9</sup>.

И чуть далее, в этом же предисловии к «Старому порядку и Революции», он опять пишет:

Одна свобода способна может отринуть человека от поклонения барышу и сутолоки будничных мелочей, может привить ему чувство постоянной связи с отечеством. Только свобода время от времени подменяет стремление к благополучию более высокими и деятельными страстями, удовлетворяет тщеславие предметами более великими, нежели роскошь, — только свобода озаряет все светом, позволяющим различать и судить пороки и добродетели человеческие.

Наконец:

общий уровень чувств и умов здесь будет постоянно понижаться до тех пор, пока равенство и деспотизм в них будут неразделимы<sup>10</sup>.

Хотя Токвиль говорит о свободе в единственном числе, а не о свободах, как это делали контрреволюционеры, он четко перечисляет здесь и там разные аспекты свободы: «способность нации самостоятельно управлять собой, правовые гарантии, свобода мысли, слова и печати» — иными словами, личные и интеллектуальные свободы, защита от деспотизма с помощью права и, наконец, участие граждан через выбранных ими представителей в общественных делах. Совокупность этих свобод и составляет, на его взгляд, *свободу*, и только она одна способна возвеличить эгалитарные, стремящиеся прежде всего к благосостоянию, общества.

В этой страсти к свободе выражает себя не только социолог, но и человек и, осмелюсь сказать, аристократ, потомок знатного рода. В эссе о «Социальном и политическом положении Франции до и после 1789 г.», из которого мы взяли определение современного понятия свободы, Токвиль анализирует также аристократическое понятие свободы:

В ней можно видеть использование общего права или привилегии. Хотеть быть свободным в своих действиях или в каких-то своих поступках не потому, что все люди имеют общее право на независимость, а потому, что у тебя самого есть особое право оставаться независимым — именно так понималась свобода в Средние века, и так почти всегда ее понимали в аристократических обществах... Такое аристократическое понимание свободы вызывает у тех, у кого развито чувство самоценности, страстное стремление к независимости. Оно дает эгоизму особую энергию и власть. Завоеванная отдельными людьми, она часто приводила их к самым необычным поступкам; принятая всей нацией, она создала величайшие народы, когда-либо существовавшие. Римляне считали, что из всего рода человеческого только они должны наслаждаться свободой и что право быть свободными не столько природное, сколько Римское<sup>11</sup>.

Эта свобода, привилегия аристократии — достояние минувших дней, и в 1836 г. Токвиль называет справедливым современное понятие свободы как всеобщего права. В 1856 г., двадцать лет спустя, не возвращаясь к своей исторической оценке, он обнаруживает<sup>12</sup> ностальгию по аристократической



свободе, сохранившуюся в его душе, и, более того, открывает в себе связь аристократической традиции со страстным стремлением к демократической свободе.

Дворянство во всеуслышание требует почти всех тех гарантий против злоупотреблений властью, какие нам принесли 37 лет представительного правления. Вопреки предрассудкам и странностям дворянства, его наказания открывают нам некоторые из великих черт аристократии. И можно лишь сожалеть о том, что дворянство уничтожили и искоренили вместо того, чтобы подчинить его всевластию закона. Поступив подобным образом, Революция лишила нацию необходимых элементов ее существования и нанесла свободе незаживающую рану<sup>13</sup>.

Не нужно трактовать этот отрывок как признание верности своему родному классу, невольно вырвавшееся у социолога демократии. Это социолог который к свободе-независимости и свободе-участию добавляет третье, более сложное для определения, но, по сути, возможно, еще более необходимое для точного понимания свободы понятие о природе взаимоотношений повелевающего и повинующегося.

При всем подчинении воле короля людям при Старом порядке один вид повиновения был неведом: они не знали, что значит покоряться незаконной или оспариваемой власти, вызывающей мало уважения, часто призраемой, но, однако же, часто склоняющей людей к подчинению, ибо такого рода власть способна легко возвысить или уничтожить. Такая унижительная форма раболепия была совершенно чужда французам.

И далее:

Для них наибольшим злом в повиновении была принудительность; для нас же это — наименьшее из зол. Худшее заключается в чувстве раболепия, что заставляет повиноваться<sup>14</sup>.

Читая этот фрагмент, можно было бы спросить, на чем основана свобода в Америке, где общество было, так сказать, непосредственно демократическим. На самом деле здесь нет никакого противоречия. Свобода как привилегия, которая имела место при старом порядке, порождала

«гордых и отважных гениев», но сама по себе она была «неправильной и нездоровой, она подготавливала Францию к свержению деспотизма, но она же сделала французов менее способными, чем любой другой народ, к установлению на его месте мирной и свободной власти законов». В Америке, напротив, свободные учреждения родились одновременно с самим обществом, и основой для них был не дух привилегий и аристократического тщеславия, а религиозный дух. Подчиненный законам гражданин повинует власти, которую он уважает, независимо от того, кто является ее временным держателем. Подчиняясь в силу оппортунизма незаконному режиму, гражданин вырождается в поданного. Или, как мы бы теперь сказали, он — потребитель, озабоченный своим благополучием, а не гражданин, заботящийся об общем благе и отвечающий за него.

Между подчинением аристократа суверену, которого он чтит, и подчинением гражданина законам, созданию которых он содействовал, существует огромная разница. Каждый из этих двух видов подчинения характеризует определенное общество. Но и тот и другой вид совместимы со свободой, так как для них обязательно признание легитимности. Подчинение становится раболепным тогда, когда власть, незаконная и презираемая, не имеет иного принципа<sup>15</sup>, кроме страха или конформизма.

Таким образом появляется теория либеральной демократии, которая во многом отлична от демократии в античной республике, взятой за образец Монтескье. Труд, торговля, промышленность, жажда прибыли и богатства, стремление к благосостоянию не противоречат больше принципу демократии.

Американцы не являются добродетельным народом, но они — свободный народ. И это вовсе не доказательство того, что добродетель не составляет основу существования Республики, как считал Монтескье. Не нужно понимать его идеи в узком смысле. Этот великий мыслитель хотел сказать, что республики могут существовать только благодаря воздействию общества на самого себя. Добродетелью он называл моральную власть человека над самим собой, которая не позволяет ему нарушать права других. Если победа человека над искушением есть

результат слабости искушения и учета человеком собственных интересов, то она не означает добродетели в глазах моралиста; но она вписывается в учение Монтескье, для которого следствие было важнее причины. В Америке не добродетель велика, а мало искушение, что приводит к тому же самому. И не бескорыстие велико, а интерес является посредственным, что дает тот же результат. Таким образом Монтескье был прав; и хотя он говорил об античной добродетели, но сказанное им о греках и римлянах применимо и к американцам<sup>16</sup>.

Может быть, несколько выдержек из II тома «Демократии в Америке» послужат иллюстрацией к этому анализу американской добродетели:

Тяга к материальному благосостоянию — страсть, характерная главным образом для среднего класса; она усиливается и распространяется с ростом этого класса и вместе со средним классом становится преобладающей. Именно отсюда она проникает как в высшие слои общества, так и в самую толщу народных низов<sup>17</sup>.

А в следующей главе есть дополнение:

Особая склонность к физическим наслаждениям, проявляющаяся в людях демократических эпох, по своей природе не является противоборствующей общественному порядку; напротив, она часто может быть удовлетворена только при условии сохранения этого порядка. Не враждебна она и нравственной порядочности, ибо добрые нравы обеспечивают общественное спокойствие и поощряют трудолюбие. Нередко эта склонность даже сочетается со своего рода религиозной моралью; люди хотят как можно лучше прожить земную жизнь, не лишив себя шансов на последующее блаженство<sup>18</sup>.

Это общество среднего класса, богатое, демократическое, вопреки или благодаря всеобщей заботе о труде и благосостоянии, вызывало у потомка древней аристократии смешанные чувства. Но он видел в нем общество будущего, и оно оставалось в его глазах достойным уважения до тех пор, пока оно почитало свободу, являвшуюся его фундаментом, истоком, самой его душой; это не некая порочная свобода, которой пользуются как животные, так и человек и которая заключается в том,

чтобы делать все, что нравится. Такая свобода — враг всякой власти, она нетерпима ко всяким правилам, она делает нас хуже, чем мы есть, она — враг истины и мира. Сам Бог счел своим долгом восстать против нее! Но существует гражданская и моральная свобода, сила которой в объединении, и власть должна ее защищать, это — свобода бесстрашно делать все, что хорошо и справедливо<sup>19</sup>.

Это определение возникает по типу так называемого логического круга. Мы должны быть свободными, чтобы поступать «хорошо и справедливо». Но кто определит, что такое «хорошо и справедливо»? Эти формулировки имеют точный смысл только в историческом контексте, когда каждый знает, что государство вправе требовать или запрещать и что входит в сферу частной жизни человека, в которой он сам себе хозяин.

Среди социологов прошлого века — Токвиль, как и Огюст Конт, может именоваться таковым вполне заслуженно — Токвиль оригинален в трех отношениях<sup>20</sup>. Он определяет современное общество не через промышленность, как Конт, не через капитализм, как Маркс, а через *равенство условий*, т. е. через демократию в социальном смысле слова. С другой стороны, в отличие от Конта и Маркса, в отношении прошлого и будущего он является *пробабилистом*. Токвиль не заявляет о необратимом движении к социалистическому или позитивистскому обществу. Он указывает, как на нечто само собой разумеющееся, что некоторые процессы имеют продолжение в будущем, одни институты отмирают (земельная аристократия), другие фатально неизбежны (выравнивание условий). Но, выражаясь языком Макса Вебера, нельзя говорить об адекватной детерминации политического режима демократическим состоянием общества. Политическая надстройка может быть деспотической или либеральной; что одержит верх, зависит от многих обстоятельств, от обычаев, и от самих людей. Наконец, он отказывается — и в этом его часто упрекают — *подчинить политику экономике*, не предсказывает по примеру последователей Сен-Симона, что управление вещами заменит управление людьми, и не смешивает, на манер Маркса, социально привилегированный класс с политически господствующим. Нельзя сказать, что он игнорировал

факт существования социальных классов. Достаточно перечитать «Старый Порядок и Революцию», и мы обнаружим анализ французского общества накануне Французской революции в классовых понятиях. «Конечно, для доказательства обратного мне могут привести в пример отдельных лиц. Но я говорю о классах, которые одни только и должны привлекать внимание историка»<sup>21</sup>. И так же очевидно описание третьего сословия, которое могло бы проиллюстрировать марксистскую концепцию классов, в отрывке из II тома «Старого порядка и Революции»:

По всей первой части видно полное единство третьего сословия, ибо классовый интерес, классовые отношения, сходство положения, единообразие притязаний в прошлом, корпоративная дисциплина заставляют держаться вместе и идти в одном направлении совершенно разных по духу людей, даже тех, которые меньше всего согласны друг с другом в отношении дальнейшего поведения и будущих целей. Прежде всего — классовая принадлежность, а уж потом приверженность каким-либо идеям<sup>22</sup>.

Но эти отрывки относятся к старорежимной Франции, беда которой, по мнению Токвиля, заключалась в разделении на классы и в классовом неравенстве.

Разделение на классы было преступлением старой монархии, а впоследствии стало ее оправданием... Когда же, испытав такое длительное и глубокое разобщение, различные классы, на которые распадалось старое французское общество, шестьдесят лет назад снова пришли в соприкосновение, они первоначально коснулись друг друга наиболее больными местами и сошлись лишь для того, чтобы возобновить междоусобия. Прежние ненависть и зависть этих классов продолжают жить и в наши дни<sup>23</sup>.

Иными словами, разделенным на классы представлялся Токвилю скорее старый порядок, чем современное общество. Богатые в США не являются аристократами, фабричная аристократия никогда не станет настоящей аристократией. Имущественное неравенство в наше время приобретает видимость неравенства классового там, где продолжают существовать дискриминации старого

порядка. В этом отношении Токвиль, мне кажется, предчувствовал всю двусмысленность марксистской концепции классов, синтез между порядками старого режима и видами неравенства, характерными для всякого индустриального общества. Общество благоденствия, среднего класса наверняка осведомлено о стратификации: вопрос в том, разделено ли оно на классы, как это казалось в капиталистическом обществе, которое Маркс наблюдал в начале прошлого века и в котором различия в экономических функциях и доходах воспроизводили неравенство старых сословий, еще более углубляя его?

\* \* \*

Свою систему Токвиль разработал в период между 1830 и 1840 гг., если можно, конечно, говорить о системе применительно к автору, чьи основные мысли были немногочисленны, просты и глубоки и который путем изучения фактов дополнял их иллюстрациями и приложениями. Следующее десятилетие, 1840—1850-е гг., Карл Маркс, изучая основные направления научной мысли, продвигался по пути, который приведет его к доктрине, исповедуемой сегодня третью человечества — одним его миллиардом, — доктрине, которая, можно сказать, потрясла мир и блестяще опровергла саму себя, поскольку отрицала влияние идей, явившись при этом сама ярким примером такого влияния.

Первоначально Маркс тоже был убежден, что демократия — это истина нашего времени, пожалуй, даже бесповоротная истина, которая проясняет саму себя и то, что ей противостоит.

Демократия есть разрешенная загадка всех форм государственного строя. Здесь государственный строй не только в себе, по существу своему, но и по своему существованию, по своей действительности все снова и снова приводится к своему действительному основанию и утверждается как его собственное дело. Государственный строй выступает здесь как то, что он есть, как свободный продукт человека<sup>24</sup>.

Проводя сравнение, занимавшее у Маркса в годы формирования его учения первое место, он пишет:

Подобно тому, как не религия создает человека, а человек религию, подобно этому не государственный строй создает народ, а народ создает государственный строй. Демократия в известном смысле относится ко всем другим государственным формам так, как христианство относится ко всем другим религиям. Христианство есть религия, *сущность религии*, обожествленный человек как особая религия. Точно так же и демократия есть *сущность всякого государственного строя*, социализированный человек как особая форма государственного строя. Она относится ко всем другим, как род относится к своим видам. Однако здесь род выступает как нечто существующее, и поэтому в отношении других форм существования, не соответствующих своей сущности, он сам выступает как особый вид<sup>25</sup>.

Нужно ли подчеркивать различие стилей Токвиля и Маркса, а также различие тех значений, которые они вкладывают в одно и то же слово — слово «демократия»? Равенство условий, представительная система правления, личные и интеллектуальные свободы — таково полное выражение современного общества, согласно Токвилю. Демократия, по Марксу, открывает скрытую истину, разрешает загадку всех конституций, поскольку народ есть источник, творец всех политических надстроек, и человек лишь приходит к истине о самом себе, осознает эту истину, признавая себя господином и властителем всех тех институтов, в которых он веками отчуждался. Но если завершение истории сливается в этом смысле с демократией, суверенитетом целого народа, то это предполагает также конец двойственности между обществом и государством, между частной и общественной жизнью. Настоящая, действительная демократия не исчерпывается эпизодическим участием в общественных делах посредством выборов или избранных представителей, она осуществится только при единстве трудящегося и гражданина, сближении народного существования и политической реальности.

Политический строй был до сих пор *религиозной сферой*, религией народной жизни, небом ее всеобщности в противоположность земному существованию ее действительности... Политическая жизнь в современном смысле есть схоластицизм народной жизни<sup>26</sup>.

Попытаемся перевести этот гегельянский язык, на язык доступный нефилософам. Человек, живущий в гражданском обществе, занятый трудом, вовлеченный в промышленность и торговлю, замкнут в себе самом, в своей обособленности. Как гражданин, он причастен всеобщности, но эта причастность занимает лишь малую долю частной жизни трудящегося. Политическое гражданство соотносится с трудовой деятельностью работника, как соотносится в христианстве судьба бессмертной души с ничтожным земным существованием. Эти два разделения и отчуждения параллельны: дуализм священного и мирского, дуализм общественного и частного есть следствие нереализованности человеком своей человечности.

Два знаменитых текста, взятых из произведений молодого Маркса, проиллюстрируют эту тему двойного дуализма, двойного отчуждения:

*Политическая революция разлагает гражданскую жизнь на ее составные части, не революционизируя самих этих составных частей и не подвергая их критике. Она относится к гражданскому обществу, к миру потребностей, труда, частных интересов, частного права, как к основе своего существования, как к последней, не подлежащей дальнейшему обоснованию предпосылке, и потому — как к своему естественному базису. Наконец, человек, как член гражданского общества, имеет значение собственно человека; это человек, а не гражданин, ибо он является человеком в своем чувственном, индивидуальном, непосредственном существовании, тогда как политический человек есть лишь абстрактный, искусственный человек, человек как аллегорическое, юридическое лицо. Реальный человек признан лишь в образе эгоистического индивида, истинный человек — лишь в образе абстрактного гражданина<sup>27</sup>.*

Иными словами, чисто политическая революция, которая не меняет социального базиса, не позволяет человеку реализовать себя, так как она не освобождает подлинного человека, трудящегося, от человека, замкнутого в своей обособленности; социализированный человек, причастный всеобщности, предстает только в виде абстрактного гражданина. *Гражданское общество*<sup>28</sup> трудящихся не сможет



примириться с политической верхушкой, пока оно будет брошено на произвол желаний, анархию эгоизмов, борьбу всех против всех. Так и дуализм мирского и священного, общества и религии будет существовать до тех пор, пока человек, не сумевший реализовать свою сущность в этом мире, будет проецировать ее на иллюзорное трансцендентное.

Это государство, это общество порождает религию, превратное мировоззрение, ибо сами они — превратный мир... Религия — это фантастичная действительность человеческой сущности, потому что человеческая сущность не обладает истинной действительностью. Следовательно, борьба против религии есть косвенно борьба против того мира, духовной услугой которого является религия<sup>29</sup>.

Освободить человека от религиозной иллюзии, освободить его от обособления трудящегося и гражданина невозможно до тех пор, пока «оружие критики» и «критика оружия» не доберутся до корней, т. е. до экономики. Религия — это образ мира наизнанку; политика отделена от конкретной жизни всех и каждого, потому что отчужден сам труд, потому что частная собственность на средства производства делает рабочего рабом своего хозяина, а самого хозяина — рабом вещей, товаров и рынка. Человеческая эмансипация — поверх религии и политики — может быть достигнута только путем экономической и социальной революции, благодаря которой

действительный абстрактный человек воспримет в себя абстрактного гражданина государства и в качестве индивидуального человека, в своей эмпирической жизни, в своем индивидуальном труде, в своих индивидуальных отношениях станет *родовым существом*; лишь тогда, когда человек познает и организует свои «собственные силы» как общественные силы и потому не станет больше отделять от себя общественную силу в виде политической силы<sup>30</sup>.

Бесспорно, Маркс призывает свободу и действительно стремится к освобождению людей. Он резко критикует религию, но

критика религии завершается учением, что человек — высшее существо для человека. Она завершается, следовательно, категорическим императивом, повелевающим

ниспровергнуть все отношения, в которых человек является униженным, поработанным, беспомощным, презренным....<sup>31</sup>

Молодой Маркс не отвергал идеалы и чаяния либерального движения, выражением и вместе с тем, крахом которых явилась революция 1848 г. Но резкость критики и цели, преследуемые этой резкой критикой, вводят нас в мир, глубоко чуждый миру либеральной демократии. В чем же заключается особенность революции, о которой мечтал молодой Маркс?

Коммунизм отличается от всех прежних движений тем, что совершает переворот в самой основе всех прежних отношений производства и общения и впервые сознательно рассматривает все стихийно возникшие предпосылки как создания предшествующих поколений, лишает эти предпосылки стихийности и подчиняет их власти объединившихся индивидов<sup>32</sup>.

Что здесь ново, так это не столько идея переворота в экономических условиях, в способе производства и обмена, а отказ считать *фатальными, ускользающими из-под власти человека какие бы то ни было факты социального порядка*. Марксистское учение, в сущности, отличается от либерального учения прометеевской гордостью, верой в способность объединившихся людей стать властителями природы и общества; и поныне оно так же или даже в большей степени, чем либеральное учение, является душой индустриальных обществ по обе стороны «железного занавеса».

Исходная позиция Маркса — не в том, чтобы вернуться к завоеваниям Французской революции, а в том, чтобы довершить их. Демократия, свобода, равенство — эти ценности он, конечно же, признает. Возмущает его то, что демократия является исключительно политической, равенство не простирается дальше избирательных бюллетеней для голосования, свобода, провозглашенная в Конституции, не препятствует поработению пролетариата и двенадцатичасовому рабочему дню для женщин и детей. Хотя приведенные нами тексты написаны философским языком, смысл их ясен, как ясно и искреннее

возмущение автора. И если он окрестил политические и личные свободы «формальными», то не потому, что пренебрегал ими, а потому, что они казались ему ничтожными, поскольку реальные условия жизни мешают большей части людей действительно пользоваться своими субъективными правами. Создать общество, в котором все люди в течение всего своего существования могли бы успешно воплощать в жизнь демократический идеал — именно такова была утопия молодого Маркса.

Но что конкретно означает соединение демократического идеала с гражданским обществом, или, проще говоря, как трудящийся мог бы достичь свободы, сравнимой с формальной свободой гражданина? Долгое время в обиходе была довольно банальная трактовка. Рабочий лишен свободы потому, что подчиняется предпринимателю, а тот, в свою очередь, — невидимым рыночным механизмам. В таком случае в результате упразднения частной собственности на средства производства гражданское общество, или социально-экономическая надстройка, будет «демократизировано», подчинено воле объединившихся производителей. Согласно другой трактовке, которую тоже можно вывести из многочисленных работ Маркса, первое условие освобождения — это развитие производительных сил, предоставление каждому средств, необходимых для достойного существования, и, наконец, сокращение рабочего дня. Знаменитый отрывок из III тома «Капитала» напоминает что труд всегда будет сферой необходимости. Царство свободы начинается за пределами труда.

Эти две трактовки — обе вполне правомерные — не учитывают некоторых важных элементов учения Маркса. Объявить о контрасте между порабощением пролетария и абстрактной свободой гражданина не составляет труда: в Англии первой половины прошлого столетия этот контраст был вопиющим и позорным. Но посредством каких институтов могли бы быть на деле соединены гражданское и политическое общество, экономическая и политическая деятельность? И каков был бы результат такого соединения? В тот день, когда трудящийся начнет работать непосредственно на общество,

а не на владельца средств производства, он станет таким же гражданином, как и чиновник, который в силу самого его труда причастен всеобщности. Но к чему приведет человека подобная политизация экономической жизни, общественный характер, придаваемый частной деятельности, — к освобождению или к порабощению? Конечно, к освобождению, если свобода по определению есть подчинение необходимости, и в человечестве, ставшем властелином своей судьбы, каждый выполняет то, что ему предписано всеобщим разумом. Но если свобода начинается по ту сторону необходимости и осуществляется в рамках выбора и автономии, предоставленных человеку, то названное Марксом эмансипацией может выродиться в порабощение.

Не будем забывать: сам Маркс всегда признавал риск порабощения, заключенный в отказе от различения гражданского и политического общества. В конце концов, уже в Средневековье одно смешалось с другим:

В Средние века существовали крепостные, феодальное землевладение, ремесленная корпорация, корпорация ученых и т. д.; т. е. в Средние века собственность, торговля, общность людей, человек имеют политический характер; материальное содержание государства определено здесь его формой. Всякая частная сфера имеет здесь политический характер или является политической сферой; другими словами, политика является также характером частных сфер. В Средние века политический строй частной собственности, но лишь потому, что строй частной собственности является политическим строем. В Средние века народная жизнь и государственная жизнь тождественны. Человек является здесь действительным принципом государства, но это — несвободный человек<sup>33</sup>.

Конечно, Маркс, когда он писал эти строки, не сомневался в том, что новое слияние общества и государства осуществится в демократии свободы: люди будут равны, а не заключены, как в Средние века, каждый в свой класс или корпорацию; государство будет делом всех, а не только избранных. Во всяком случае, согласно теории Сен-Симона, управление людьми сменится управлением ве-

щами, и в то же время из соединившихся общества и государства выживет именно общество, а государство исчезнет. Но на чем же основывается этот либеральный оптимизм, если не на утопическом представлении о «правлении объединенных производителей»?

Позже, заменив экономико-социологический язык философским, Маркс по-другому выразил ту же самую опасность тотальной эмансипации, вырождающейся в тотальное порабощение. Марксистская классификация экономических режимов основывается на одном, на его взгляд решающем, критерии — отношении между людьми в процессе труда, определяющем способ получения и распределения прибыли. Раб есть собственность своего хозяина, который оставляет себе весь произведенный продукт, за исключением расходов на содержание раба. Так же и крепостной прикреплен к земле, а помещик владеет орудиями производства и оставляет себе всю произведенную стоимость, за исключением того, в чем нуждается для жизни работник и его семья. Капитализм скрывает эксплуатацию под маской свободы (пролетарий — не раб, не крепостной, он появляется на рынке, где обращается к покупателю с предложением своей рабочей силы) и равенства (заработная плата является, по видимому, справедливой компенсацией труда рабочего). Но эксплуатация не исчезла, она, так сказать, замаскировалась: зарплата всего лишь эквивалент товаров, необходимых для жизни рабочего и его семьи. Остальное, т. е. прибыль, принадлежит владельцу средств производства.

Упразднение класса капиталистов открывает перспективу экономики без эксплуатации, экономики, при которой само общество — сообразно потребностям и по справедливости — распределяло бы ресурсы, необходимые для развития средств производства, и потребляемую прибыль. Но это устранение отдельных эксплуататоров могло бы восстановить то, что Маркс называл *азиатским способом производства*, т. е. разделение общества на две части (лучше не называть их классами): огромное большинство трудящихся — с одной стороны, государственный аппарат со

своей армией чиновников, организованной по строго иерархическому принципу, — с другой. Прибыль, взимаемая государственным аппаратом, распределяется согласно воле руководителей этого аппарата. Маркс еще смутно предчувствовал возможность порабощения, скрывающуюся в стремлении преодолеть характерный для либеральной демократии дуализм трудящегося и гражданина, общества и государства.

Правда, начиная с 1848 г. единожды пройдя путем, приведшим молодого гегельянца к материалистической концепции истории, он делает акцент не на желательности радикальной революции, а на ее необходимом характере. Прометеевское притязание не было уже притязанием индивида или даже всего человечества, как не было оно притязанием класса пролетариев в меру того, что миссией последних было лишь свершение предписанного судьбой. Капитализм обречен из-за своих внутренних противоречий, и если время и обстоятельства катастрофы остаются неизвестны и, может быть, неопределенны, то сама катастрофа, ужасная и благотворная, — неизбежна. Итак, Токвиль, судя повсему, возлагал на людей ответственность за выбор в демократическом мире между свободой и деспотизмом, в то время как Маркс обрекал их повиноваться законам диалектики, сопротивляться которым бесполезно, и ускорить их ход.

На самом деле диалог этих двух мыслителей представляет собой не совсем то, чем кажется. Маркс ссылаясь на исторический детерминизм не как на алиби презренного смирения, а как на оправдание и вместе с тем утаивание чисто демиургической воли. Перестроить общество, начав с его экономико-социальных основ, дабы свобода и равенство были предоставлены всем и сразу, — в этом должна заключаться Революция *четвертого* сословия как продолжение и завершение Французской революции, т. е. Революции третьего сословия. И когда в начале века Ленин и большевики, не желая оставить неумолимому ходу истории задачу победы над капитализмом и строительства социализма, уверовали в партию, подменив ею и диалектику, и сам пролетариат, то они несомненно предали учение, ставшее официаль-

ным во Втором Интернационале, и пожертвовали некоторыми элементами марксистского наследия, но зато обнаружили в нем элемент оригинальный и жизненный, а именно веру в способность объединившихся людей ликвидировать пережитки минувших веков и самовластно создать общественный строй на новых основах.

\* \* \*

Наброшенный нами в общих чертах диалог Маркса с Токвилем нетрудно было бы интерпретировать согласно социологическому и, можно сказать, марксистскому методу. Один — аристократ, примкнувший к демократии из соображений разума, а не по воле чувств, предчувствовавший порой установление совершенно нового порядка, но остававшийся защитником существующей системы и ярким противником социализма. Другой, буржуа по происхождению, изменивший своим же ценностям, стал представителем рабочего класса, заявив о несправедливости по отношению к нему и предсказывая ему реванш в будущем. Один из социального консерватизма сделался вопреки собственным предпочтениям теоретиком либеральной, т. е. буржуазной, демократии; другой всем сердцем стремился стать теоретиком и одновременно вождем рабочего класса.

Будучи современниками, они, тем не менее, можно сказать, игнорировали друг друга. Я сомневаюсь, что Токвиль знал по крайней мере «Манифест коммунистической партии». Маркс же несомненно читал «Демократию в Америке», и хотя он подозревал, а иногда даже предсказывал, что ситуация в США будет развиваться иначе, чем в Европе, но пример американской демократии не мог изменить составленное им раз и навсегда представление о неотвратимом будущем крахе капиталистических обществ. Один ставил превыше всего защиту личных и политических свобод, но либеральная демократия представлялась ему также самой эффективной защитой социальной иерархии и экономического неравенства. Другой считал ничтожными все реформы, не затрагивающие частную собственность на средства производства — главную причину социальных противоречий и бедственного положения рабочего класса,

И тот и другой одинаково не любили оппортунизм и хранили верность самим себе и своим идеям. Токвиль отошел от политики в тот день, когда Луи-Наполеон нарушил конституцию и восстановил империю. Карл Маркс оставался непокорным до конца своей жизни, посвятив себя борьбе против жестокого общества и отстаивая интересы класса, на который пала вся тяжесть социальной несправедливости. И тот и другой верили в свободу, и тот и другой имели целью справедливое общество, но один хотел, чтобы люди в соответствии с законами могли без помех заниматься производством и торговлей, и боялся, как бы человека вдруг не лишили свободы-независимости и свободы-участия, а другой считал свободную деятельность человека в сфере промышленности и торговли причиной всеобщего порабощения. Таким образом, важнейшим условием свободы для одного была представительная система правления, для другого — экономическая революция.

Это противостояние легко объясняется происхождением, карьерой, темпераментом, но есть здесь парадокс, на который стоит обратить внимание: теоретиком либеральной демократии стал нормандский аристократ, прокомом четвертого сословия — сын рейнского буржуа. Потомок европейского дворянства наблюдал модель будущего общества в США. А в викторианской Англии молодой гегельянец пополнял свое экономическое образование, позаимствовав у Рикардо понятия и методы, с помощью которых он попытался облечь в научную форму свое возмущение и свои надежды.

Какой бы ни была частичная истинность этих биографических и социологических трактовок, верно то, что к решающему моменту это противостояние касается факта или тенденции эволюции. Создает ли экономика, основанная на частной собственности на средства производства, пропасть между богатыми и бедными? Делает ли она классы враждебными друг другу, неспособными сотрудничать и потому обреченными на беспощадную взаимную борьбу вплоть до уничтожения одного и триумфа другого? Можно сказать, что Токвиль обеспечивал себе некоторый интеллектуальный комфорт, полагая,



что общество будущего будет представлено в основном средним классом. Такое спокойное ожидание и оптимистическое предвидение освобождали его от участия в борьбе с несправедливостями настоящего. Будущая Европа виделась ему обществом столь же мобильным, как и американское; он легко смирялся с упорством старого континента относительно классовых дискриминаций и с бессилием бедняков. Но, несмотря на это, в перспективе его представление было верным, а Маркса — ложным, причем неверным оказалось даже представление о ближайшем будущем, поскольку с середины прошлого века он из года в год ожидал спасительного потрясения.

Почему общий рост благосостояния предвидел тот, кто рассуждал в политических терминах, а не тот, кто изучил все книги по экономике? Можно было бы ответить, указав на превосходство простого наблюдения и исторического опыта над несовершенными и односторонними рассуждениями специалистов. Токвиль, как мы видим, выводил равенство политическое из социального равенства, из политического равенства — уравнительную тенденцию в распределении прибыли, переход от одного к другому представлялся ему в далекой перспективе вероятным, детерминированным глубинными силами, которые определяют судьбу обществ. Что касается развития производительности труда и технических революций, то он знал и говорил о них не более, чем любой культурный человек его эпохи. Он просто полагал, что сочетание возросших ресурсов и демократического климата приведет, возможно, к улучшению положения большинства людей, а не к увеличению разрыва между крайней нищетой, с одной стороны, и избыточной роскошью — с другой.

Как экономист, Маркс подвергал сомнению этот спокойный оптимизм, и в какой-то степени он был прав. Вполне можно предположить, что в обществе, экономика которого основана на частной собственности на средства производства, богатства сосредоточатся в руках меньшинства и большая часть населения не сможет воспользоваться ими (так нередко и происходило). И все же тут есть парадокс. Ни один экономист прошлого века не

был так внимателен, как Маркс, к динамизму современной экономики, никто так настойчиво не говорил о том, что статическая модель далека от реальности и что капитализм определяется через накопление капитала, а значит, через развитие производительных сил и, косвенно, через рост производительности. Так почему же Маркс, исходя из динамической модели экономики, накопления капитала, делал вывод об обнищании масс, несмотря на растущую производительность труда?

Полный ответ потребовал бы детального изучения системы Рикардо и того, каким образом Маркс использовал эту систему в своих целях. Но здесь достаточно сделать несколько простых замечаний. Взяв труд за единицу измерения стоимости, а заработную плату (или стоимость рабочей силы) измеряя в товарах, необходимых для существования рабочего и его семьи, Маркс мог прийти к двум выводам. Если благодаря повышению производительности количества рабочего времени, необходимого для производства товаров, представляющих стоимость заработной платы, сокращается, то либо должна увеличиться степень эксплуатации, либо зарплате, не представляющей возросшую стоимость, должно соответствовать большее количество товаров. Маркс не утверждал, что норма эксплуатации возрастает, он говорил, что она остается стабильной. Он должен был бы признать, что если одна и та же часть дня затрачивается на производство стоимости, эквивалентной стоимости заработной платы, а производительность возрастает, то это должно привести к повышению уровня жизни и уменьшению бедности. Дабы избежать этого вывода, Маркс, в отличие от многих современных ему экономистов, говорит не о влиянии роста заработной платы на уровень рождаемости и, следовательно, на предложение рабочей силы, а о резервной армии труда, иначе говоря, о давлении, которое постоянно оказывает на уровень заработной платы наличие работников, лишившихся своих мест вследствие технических преобразований.

Если бы Маркс изучал экономику только как наблюдатель, не зная заранее, что он хочет доказать, он не настаивал бы с такой силой на *абсолютном обнищании*, которое

не следует с очевидностью из его анализа капитализма, и не вывел бы из увеличения постоянного капитала по отношению к переменному капиталу — т. е. из понижения нормы прибыли<sup>34</sup> — следствие о прогрессирующем параличе экономики, двигатель которой — частное капиталовложение.

В 1963 г. на процветающем Западе стала очевидна неправота Маркса в экономическом плане, т. е. там, где он был одним из самых ученых и эрудированных людей своего времени; Токвиль же, как выяснилось, предугадал будущее, несмотря на свое незнание (разумеется, относительное), а может быть, как раз благодаря ему. Ведомый своим здравым смыслом или интуицией, он без веских доказательств и углубленного анализа допускает, что общество, одолеваемое заботой о благосостоянии, обеспечит для большего числа людей моральный статус и экономические условия среднего класса. Такому обществу не будут давать покоя беспрестанные предъявления требований и столкновения интересов, но оно не будет расположено к революциям. Слишком многим людям будет что терять, если хроническая неудовлетворенность выльется в революцию. «То, чем я не владею сегодня, я имею шанс получить завтра, и мои дети получают это, даже если у меня этого нет». Таким образом, без излишнего парадокса надо отдать Токвилю должное в том, что он предугадал озабоченное и мирное общество, в котором жители Запада живут уже 15 лет после Второй мировой войны.

Одновременно нельзя не указать на главную ошибку Маркса: представление о том, что в условиях частной собственности и рынка положение масс фатально ухудшится, и капитализм, парализованный своими противоречиями, истерзанный классовой борьбой, погибнет, так как он неспособен реформировать себя. Трудно удержаться, чтобы не пойти дальше и не увидеть даже там, где победила доктрина Маркса, подтверждение альтернативе, сформированной Токвилем.

Мыслитель-пробабилист, он говорил о двух путях развития человечества в будущем — либеральной демократии и деспотической демократии. Не представляют ли советские

режимы одну, а западные — другую альтернативу? Тогда долговечность западного капитализма опровергает марксистские пророчества, в то время как деспотические режимы, провозглашающие марксизм, скорее утверждают, чем опровергают мысль Токвиля. Не изобразил ли он в приведенном нами выше отрывке деспотическое общество без аристократии, где законы служат достижению благосостояния масс?

Будем, однако, осторожны, дабы не предложить простой, а потому соблазнительной, интерпретации. Если на протяжении последних лет социологи проявляли больше внимания и интереса к политическим фактам, конституциям, понимаемым в самом широком смысле (способ назначения на правительственные посты, способ применения власти), то это, без сомнения, происходило по причине разительного контраста между двумя самыми могущественными мировыми державами, каждая из которых занята индустриальным строительством, но одна провозгласила либеральную демократию (в том смысле, какой вкладывал в это слово Токвиль), а другая приняла за идеал уничтожение классов и слияние общества и государства, как мечтал молодой Маркс. Мы окрестили советское общество деспотическим, но его идеологи обращают это обвинение против нас самих, заявляя о порабощении западных пролетариев собственниками средств производства, о рабском подчинении самого государства монополистам, т. е. господствующему в обществе меньшинству, способному манипулировать теми, кого граждане считают своими избранныками.

Символизирует ли этот обмен обвинениями неразрешимый спор? Может быть, одно и то же слово имеет разные значения, которые подразумеваются по ту и по другую сторону «железного занавеса»? Или сами факты позволяют ограничить претензии соперников?

Главная ошибка Маркса, как мы уже говорили, состояла в том, что он верил или писал так, будто верил в то, что только радикальная революция сможет освободить рабочего в двояком смысле: подняв его жизненный уровень и предоставив ему возможность принимать участие в общественной жизни. Другой важнейшей ошибкой уже не Маркса,

а марксистов было ложное следствие, выведенное из справедливой критики. Индивидуальных свобод или личных (политических) прав, убежденным сторонником коих был Токвиль, недостаточно для того, чтобы наделять чувством свободы и тем более действительной свободой распоряжаться своей судьбой людей, чье жалкое существование обеспечивает лишь негарантированная зарплата. Эта критика справедлива, но следствие, согласно которому формальные свободы — роскошь привилегированных классов, ложно. Потому что советский опыт блестяще показал, что «ассоциированные производители» во главе с пролетариатом, ставшим правящим классом, могут восприниматься людьми не как инициаторы всеобщего освобождения, а как виновники тотального порабощения.

Я думаю о венгерской революции 1956 г., единственной антитоталитарной революции века, которая может быть названа победоносной, несмотря на то, что вмешательство иностранной армии в конце концов «восстановило в Будапеште порядок». Эта революция, насколько мне известно, больше всех других напоминает ту, о которой мечтал Маркс в 1843 г. «Философия, — писал он, — разум этой эмансипации, пролетариат — ее сердце». В Венгрии народное восстание возглавили интеллектуалы, группировавшиеся вокруг Петёфи; они поднялись против навязанной лжи, против мистификации, жертвами которых они сами стали. Рабочие вышли на улицы по призыву писателей и художников и свергли режим Ракоши — воплощение деспотизма, дабы восстановить ценности, гарантированными должны быть интеллектуалы: право на истину, самое простое и неотъемлемое из всех прав человека, которое еще европейские либералы XIX в. считали сущностью свободы.

Задумавшись на мгновение о смысле этой инверсии, о парадоксе, за которым скрывается подлинная логика. Что значат, писал Маркс, формальные свободы — право говорить, писать, выбирать своих представителей и поклоняться своему богу, — если реальное, повседневное, трудовое существование — это тюрьма неумолимой необходимости,

творящейся властью хозяина и тиранией нужды? Марксистский протест против известного самодовольства привилегированных слоев, склонных принимать нищету большинства, только бы уважались их формальные свободы, не потерял своей актуальности. Но однажды, когда под предлогом реальной свободы власть государства распространяется на все общество и обнаруживает тенденцию не признавать больше частную сферу, интеллектуалы и сами народные массы начинают требовать формальных свобод.

Ни одна революция не была так близка по своим стремлениям и лозунгам к революции 1848 г., как венгерская революция 1956 г. Однако она была направлена не против обычного деспотизма, а против режима, который объявлял, что действует в интересах пролетариата, интеллигенции будущего и который, сам не осознавая действительной сущности своих противников, пытался их опорочить, окрестив контрреволюционерами. Это была величайшая ложь. Ни Петёфи с его единомышленниками, ни Имре Надь не являлись контрреволюционерами и не стремились восстановить старорежимную Венгрию и вернуть земли их прежним собственникам, а банки и заводы — капиталистам. Коллективная собственность на средства производства не ставилась под сомнение и, можно сказать, никого не интересовала (по крайней мере, если говорить о больших концентрациях капитала: крестьянин был по-прежнему привязан к земле, а национализация торговли и ремесла не оправдывалась в техническом плане). Короче, в 1956 г. интеллигенция и народные массы кричали — как и в 1848 г. — слово «свобода» и мечтали о правах человека, свободе-участии с помощью выборов и многопартийности, наконец, о национальной, коллективной свободе, недостаток которой ощущал каждый, так как у гражданина появляется чувство, что его роль сведена к нулю, если те, кого он избирал в органы управления, сами оказываются игрушкой в руках внешней всемогущей власти.

Можно было бы возразить, что венгерская революция была прежде всего национальной и что мы искажаем ее значение, интерпретируя ее через диалектику формальных и реальных свобод: формальные свободы, презируемые

марксистами, являются отныне целью народных движений в стране, в которой все общество подчинено государству и как бы составляет с ним одно целое, так что протест с самого начала неизбежно становится политическим. Но случай с Венгрией — это лишь крайний случай. Даже в Советском Союзе та (формальная) свобода, которая признается за интеллигенцией, постоянно находится под вопросом. В годы сталинской монолитности такого вопроса, по-видимому, вообще не стояло. Порядок, установленный сверху одним человеком, правящим с помощью террора, подчинил себе даже слово; очередная версия идеологии всякий раз подхватывалась миллионами голосов и распространялась во все концы. Если люди в белых халатах объявлялись убийцами, пропагандистский аппарат всех партий откликался на декрет вождя, и возмущение передавалось тем парижским врачам, которые ничего не знали, но которые были порой охвачены гуманизмом марксизма-ленинизма. После смерти Сталина строгий порядок, основанный на лжи, был подорван, и режим стал искать компромисса между подчинением государственной ортодоксии и свободой выражения, к которой стремились писатели и люди искусства.

Зачем отнимать у художников право на формализм, а у музыкантов — право на додекафонию? Но если искусство не находится на службе у партии и социалистического строительства, если идеология больше не влияет на все социальное бытие, это ставит под сомнение единство бесклассового общества, слияние этого лишенного антагонизмов общества с государством, которое стремится к тотальному самовыражению. Происходит размежевание между общественной сферой и частными сферами: между той областью, где правит общественная воля, и теми, где индивид может или должен быть предоставлен самому себе. Но в таком случае на чем будет держаться монополия партии? Как она оправдывает свое притязание на абсолютную власть? Почему только она одна вправе изрекать высшую истину и давать ей различные толкования, оберегая ее от постоянных опасностей догматизма или оппортунизма? Не случайно, а закономерно, что марксистско-ленинские системы правления, стремясь к реальным

экономико-социальным свободам, настраивают против себя наследников всех тех, кто во все времена боролся против ортодоксии, отказывали цезарю не в подчинении, а в преклонении, этих вечных бунтарей, которые никогда не одерживали полной победы, но никогда и не признавали себя побежденными.

Мне возразят что диалог Н.С. Хрущева с интеллигенцией и венгерская революция 1956 г. не имеют ничего общего с марксизмом Маркса и что последний хотел не отменить, а дополнить формальные свободы буржуазии. Я этого не отрицаю. Но всякая доктрина действия, каковой является и доктрина Маркса, ответственна не только за свои намерения, но и за последствия, даже если таковые противоположны ее значимости и целям. Я согласен с тем, что всемогущество партии, такой как партия большевиков, не соответствует учению Маркса; после 1917 г. многие марксисты отказывались признавать условием наступления социализма общественную собственность на средства производства и государственное планирование при отсутствии политической свободы; не менее трудно представить себе устранение классовых антагонизмов; преодоление без абсолютной власти, без чего-либо, подобного диктатуре пролетариата, двойственности между обществом и государством. Пролетариат, т. е. миллионы трудящихся, не может сам осуществить диктатуру. Поэтому можно понять, что марксизм, отвергая метод прогрессивных реформ, отказываясь допустить постоянство различных сфер — экономики и политики, стремясь ко всеобщему освобождению, достигаемому за счет возможности объединившихся производителей самим определять свою судьбу, добился тотального подчинения всех одной партии и даже одному человеку. Ибо каким образом «объединенные производители» могли бы реорганизовать общество в самой его основе, если бы их «объединение» оказывалось неспособным диктовать свою волю, иначе говоря, если бы само объединение производителей не создало партию с иерархией, центральным аппаратом и вождем?



Нужно ли говорить, что управляемые, по иронии истории, стремятся к формальным свободам там, где царит философия реальных свобод? Зато формальные свободы — в отличие от свобод реальных — не ценятся там, где первые гарантированы, по крайней мере в основном, но где наряду с частной собственностью на средства производства существует общественная сила и где возможна политическая власть меньшинства в частной сфере? Эта диалектика, в которой есть доля истины, выражает, несмотря ни на что, чрезвычайно сложную историческую реальность.

В Венгрии революционный порыв исходил от интеллигенции, но народные массы не последовали бы за нею, если бы они сами не чувствовали себя униженными, эксплуатируемыми. А поскольку эксплуататоров-собственников уже не существовало, то в ответе за эксплуатацию могли быть венгерская коммунистическая партия или Советский Союз. Впрочем, экономическая политика, проводимая во всей Восточной Европе в послевоенные годы, в одном существенном пункте напоминала ту, которую Маркс рассматривал как типично капиталистическую: «Накопление и еще раз накопление — вот закон и пророки». Эта знаменитая формулировка в переводе на язык социалистического строительства означает приоритет капиталовложений, особенно в тяжелую промышленность, над потреблением. Революция против нищеты вопреки развитию средств производства — не та ли это революция, которую провозглашал Маркс и которую на Западе упредило повышение уровня жизни?

С другой стороны, было бы неправильно полагать, что на Западе формальные свободы считаются гарантированными, а реальные составляют единственный объект притязаний. Для западных форм правления, в отличие от таковых советского типа, характерен плюрализм — множество сфер (частная и общественная), множество социальных групп, часть из которых выступают как классы, осознавая собственную миссию и занимая оппозицию существующему порядку, множество партий, борющихся за власть. В разных странах и при разных обстоятель-

ствах то формальные свободы (в период маккартизма), то свободы реальные (на взгляд рабочих, придерживающихся марксистско-ленинской доктрины) находятся в опасности и являются причиной конфликтов. То общество кажется тираническим более, чем государство (на взгляд черных американцев), то государство, отказываясь повышать заработную плату либо поддерживая требования плутократических меньшинств или сговор военных или промышленников, уклоняется от исполнения воли тех, кто по закону демократии должен быть его душой, если не самими правителями.

Диалектика формальных и реальных свобод советских и западных систем правления не сводится, таким образом, к иронической переориентации от *pro* к *contra*: люди, стремящиеся к завоеванию реальных свобод, уничтожили формальные свободы, не подняв, однако, уровень жизни и не расширив своего участия в общественных делах, значит, по существу, не достигнув реальной свободы; в то же время народные массы в обществах, приверженных формальным свободам, продолжают стремиться к большей реальной свободе, т. е. к повышению благосостояния, к участию в управлении предприятиями и государством. Эту слишком упрощенную антитезу я заменяю следующей: там, где единая партия поддерживает деспотический режим и запрещает ученым, писателям, деятелям искусства творить по велению своего таланта, там требование формальной свободы, молчаливое или открытое, вновь приобретает актуальность и, в некоторых обстоятельствах, прежнюю остроту. Что касается народных масс, то они, кажется, даже будучи не удовлетворенными, не ставят под вопрос догмы режима: общественную собственность на средства производства и планирование, но, по крайней мере, в странах Восточной Европы, они ставят под вопрос однопартийную систему. Если бы поляки, чехи, венгры были предоставлены самим себе, они восстановили бы соперничество партий и парламентские прения. Другими словами, экономические и социальные претензии, которые по ту сторону «железного занавеса», без сомнения, многочисленны и разнообразны,

не перерастают в идеологию смены формы правления, в то время как в политической сфере существует альтернативная идеология и даже альтернативные институты.

На Западе основы формальных свобод и либеральной демократии теперь уже всерьез не обсуждаются, разве только меньшинствами, придерживающимся марксистско-ленинской доктрины, или в тех обстоятельствах, когда этот режим оказывается неспособным решить насущные проблемы. Что же касается социальных и экономических претензий и требований, то они многочисленны и разнообразны, но, как и по ту сторону «железного занавеса», они не преобразуются непосредственно в альтернативную идеологию, т. е. в систему или доктрину. Время от времени недовольные предъявляют свои претензии государству или монополиям, крупным корпорациям, определяющим направления технического прогресса, или мелким предприятиям, вынужденным довольствоваться анахроническим методом. Если опять-таки исключить меньшинство, уверовавшее в формы правления советского типа, то интеллигенцию как и народные массы на Западе нельзя назвать ни удовлетворенными, ни революционно настроенными, ни освобожденными, ни поработченными.

Все происходит так, словно неудовлетворенность была неспособна породить революционную волю, так как причины этого столь многочисленны и столь неопределенны, что никакая общая теория не может их охватить, как никакое действие не может разом их устранить. Западная неудовлетворенность отказывается как от отчаяния, так и от надежды.

\* \* \*

Какой же ответ последует на поставленный выше вопрос: являются ли сегодняшние индустриальные общества наследниками либерализма, пекущегося прежде всего о правах человека и представительных органах, или же — *прометеевских амбиций* марксистов, по-своему заботящихся о свободе, но о такой, которая стала бы следствием основательной реорганизации общества начиная с социально-экономического базиса?

Для начала можно сказать, что в некоторой степени все индустриальные общества унаследовали прометеевские амбиции: они твердо верят в то, что техника обеспечивает господство над природой, а рациональная организация позволяет контролировать социальные явления, так что ни одно правительство, ни один теоретик не считают фатальными некоторые формы нищеты, никто не хочет безропотно переносить незаслуженные несчастья, повсеместно преследующие людей. Среди свобод, провозглашенных Атлантической Хартией, есть две, которые традиционный либерализм проигнорировал бы: *freedom from want*, *freedom from fear*, ибо нужда и страх, голод и война на протяжении веков сопровождают человеческое существование. Никто не утверждает, что с нуждой и жестокостью в наше время уже покончено, но почему бы не надеяться, что когда-нибудь это произойдет? Можно почти не сомневаться в том, что стремление преодолеть их — ново и свидетельствует об амбициях, не разделявших и не одобрявших ни *founding fathers*, ни Токвилем. Ведь эти амбиции рождаются из равновесия, установившегося между тиранией вещей и тиранией людей, выражаясь более точно, — из утверждения, что человек, лишенный хлеба и образования, является жертвой не вещей, а людей. Только люди могут лишить других людей права выбирать свое правительство или поклоняться своему богу. Но какие люди несут ответственность за нужду (*want*) и за страх (*fear*), и какие люди могут побеждать их? Никакое социальное положение не должно более рассматриваться в качестве не зависящего от разумной воли людей. Это почти дословно марксистская фраза, но она выражает общую веру или общую иллюзию современных обществ.

С того момента, когда устанавливается это равновесие или утверждаются эти амбиции, индустриальные общества, даже западного типа, даже если они продолжают ссылаться на Медисона или Джефферсона и отвергать Маркса и марксизм, даже при том, что они остаются приверженными принципам либеральной демократии, они насквозь проникаются духом, глубоко отличным от того, который вдохновлял основателей американской конституции или

творцов Французской революции. Поскольку единственный деспотизм, которого они опасались, был деспотизм неограниченного правительства или человека, развращенного избытком власти, то их многочисленные меры предосторожности предпринимались именно против могущества государства и произвола правителей. Но когда бедность и несчастья вменяются в вину самому обществу, а не злоупотреблениям полиции и несправедливости королей, что же тогда должно стать главной заботой — ограничение власти или же, наоборот, предоставление ей средств, соответствующих возлагаемым на нее задачам, т. е. средств почти неограниченных? Либерализм, не доверяя людям, скупно наделил их способностью действовать. Наша вера в науку, технику, организацию сталкивается с медлительностью, которую влечет за собой обсуждение, и с застоєм, который могут вызвать *checks and balances*, а как раз в них создатели конституций видели некогда высшее искусство и гарантии свободы. То, что вчера было гордостью законодателей, сегодня приводит в отчаяние технических специалистов.

Конечно, в индустриальных обществах западного типа и прежде всего, в наиболее передовом из них, сохраняется либеральная демократия в токвилевском понимании. Автор «Демократии в Америке» был прав. Федерация продолжала существовать, один лишь раз, как и предвидел Токвиль, над ней нависла угроза — угроза рабства. Институты, которые в его глазах были выражением и гарантией свободы — участие граждан в местном управлении, добровольные ассоциации, взаимовлияние демократического и религиозного духа, — выжили, несмотря на постепенную централизацию и усиление института президентства (впрочем, Токвиль объявлял, что это усиление станет неизбежным, когда у Республики появятся враги и она будет вынуждена вести активную внешнюю политику).

Было бы нелепо внушать, что усилия, прилагаемые к тому, чтобы обеспечить всем людям необходимые материальные средства для самореализации, для свободного определения своей судьбы, противоречат идеалу либерализма XVIII в., боязни деспотизма и произвола, вере в конституционные процедуры. С первого взгляда

видно, что либеральные демократии сегодня укрепились и процветают, в особенности — если не исключительно — там, где жизнь народных масс достигла благополучия. Возьмем США: откуда здесь взяться противоречию между правами человека или, иными словами, между формальными свободами и свободой реальной (ростом благосостояния и социальным участием), когда Республика достигла высшей ступени экономического могущества и изобилия именно в рамках либеральной конституции?

Стало быть, речь не идет о каком-либо противоречии; но как не признать, что боязнь произвола и прометеевская гордыня характеризуют разные духовные миры, выражают две совершенно разные позиции по отношению к обществу? Может статься, что американцы первыми полетят на Луну<sup>35</sup> и тем самым докажут, что нескончаемые запросы сенатских комиссий — пережитки буржуазных традиций — нисколько не ослабляют волю, которую Шпенглер называл фаустовской, и эффективность коллективной организации. Я не отрицаю того, что США могут сохранять в целостности свои изначальные ценности, ведь каждая нация, порой сама того не осознавая, остается верной идеалу, обусловившему ее рождение.

Верно ли для стран Западной Европы то, что верно для США? Верно ли это для остального мира? Мы не станем решать этот вопрос, но дадим ему радикальное выражение. Еще полвека назад конституция и формальные свободы выражали — если не во всем, то, по крайней мере, в главном — понятие современности. Крен Японии в сторону Запада, начавшийся из-за осознания внешней опасности, явился одним из самых необычных исторических событий. Япония решила ввести конституцию и парламент и одновременно приспособить науку и технику Европы и Америки. Младотурки тоже стремились модернизировать политику не меньше, чем армию; символом модернизации политики стал парламент. Сегодня символом современности служит не столько парламент, сколько доменная печь.

Само Противостояние советских обществ западным сделало неизбежной эту двусмысленность понятия «современность». Если Советский Союз достиг вершины

политического и промышленного могущества без плюрализма партий, без уважения формальных свобод и даже без действенного конституционного механизма, то почему эти пережитки доиндустриального века, эти процедуры, изобретенные республиками земельных собственников или буржуа, должны быть окружены священным ореолом? Почему страны, стремящиеся к ускоренному экономическому росту, справедливо заботящиеся о том, чтобы дать людям материальные средства для нормальной жизни, должны стесняться себя этими хитроумными механизмами, которые больше подходят для того, чтобы тормозить, а не активизировать общественное действие? И вот мы видим, что во всех новых государствах стремление построить или перестроить социальный порядок, начиная с самых основ, иными словами, марксистская гордыня, а не либеральная скромность отвечает настроениям элиты более, чем настроениям народных масс. Даже отождествление общества и государства, трудящегося и гражданина — против которого протестуют люди, живущие по ту сторону железного занавеса, и которое претит жителям Запада, — воплощенное в монолитной партии, кажется средством, способным мобилизовать народ, заставить его изменить свои традиционные формы жизни, связать воедино социальные и политические силы. Для либеральных свобод обязательно разделение сфер и уважение к формам. Из нетерпения или из-за иллюзии эффективности монолитные партии, которых на планете становится все больше, иногда даже не ссылаясь на Маркса или марксизм-ленинизм, отрицают индивидуальные свободы в надежде на то, что «объединившиеся производители» построят сначала новый социальный порядок, чтобы освободить людей если не от страха, то хотя бы от нужды.

\* \* \*

Еще раз повторю: я не подвергаю сомнению совместимость старого идеала либеральной демократии с обновленным идеалом прометеевского господства над природой и над самим обществом. Западные общества,

общество американское свидетельствуют не только о том, что в нашу эпоху формальные и реальные свободы не являются несовместимыми друг с другом, но и о том, что в этих же обществах и те и другие реализованы наименее несовершенным образом.

Из исторического диалога между Токвилем и Марксом, либеральной демократией и созидającym социализмом, нам хотелось бы выделить то, что индустриальное общество, в котором мы живем и появление которого предчувствовали мыслители прошлого века, демократично по своей сути, если подразумевать под этим — как это делал Токвиль — ликвидацию наследственной аристократии; такое общество обычно, или даже обязательно, демократично, если мы имеем в виду, что оно никого не лишает гражданства и стремится к распределению благ. Однако либерально оно только в силу традиции, это пережиток, если под либерализмом понимать уважение личных прав и личных свобод, а также конституционных процедур.

У современных западных обществ тройной идеал: *буржуазное гражданство, техническая эффективность и право каждого выбирать свой путь спасения*. Нельзя пожертвовать ни одним из этих идеалов. Но было бы наивно полагать, что легко достичь всех трех.



## ГЛАВА ВТОРАЯ

### ФОРМАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ СВОБОДЫ

Вывод, который можно сделать из первой лекции, кажется поразительным. В самом деле, социологи или идеологи редко были так близки к согласию, как сегодня. Достаточно вспомнить, каким был Запад через 18 лет после Первой мировой войны — в 1936 г.: либеральная демократия исчезла в большей части Европы, выжила она только в англосаксонских странах и в небольших фламандских и скандинавских государствах. В самой Франции, раздираемой натисками фашистов справа и силой коммунистической партии, ей угрожала опасность. Даже там, где либеральная демократия прямо не подвергалась непосредственной угрозе, великая депрессия, казалось, давала основание говорить об исполнении одного из марксистских пророчеств, — не о том, что предсказывало обнищание масс, а о фатальном застое в экономике как следствии противоречия между общественным характером производства и частным характером присвоения.

Через 18 лет после Второй мировой войны европейские страны — бывшие враги или бывшие союзники, бывшие фашисты и бывшие неустойчивые демократии — являют собой зрелище, на первый взгляд, образцовое. Никогда еще ни в прошлом, ни в нынешнем веке уровень экономического роста европейских стран не был столь высоким в течение столь длительного периода. Никогда эксперты не предугадывали с такой точностью такого стремительного роста. В то время как американская экономика вышла на первое место по уровню общественного могущества и одновременно по степени индивидуального благосостояния с годовым ростом ВВП 1,8% на душу населения, французские плановики на ближайшие 25 лет предрекают процент, который будет в два, а то и более, раз выше.

Доход на душу населения во Франции составляет лишь половину такового в США (63%, согласно американским ценам, 47%, согласно европейским)<sup>36</sup>, но, несмотря на это, Западная Европа тоже вступила в фазу, которую У. Ростоу называет *mass consumption* (массовым потреблением)<sup>37</sup>, следующую за *self-sustained growth* (самоподдерживающимся ростом). Теперь позволить себе покупать товары длительного пользования — автомобили, стиральные машины, телевизоры, холодильники — могут и мелкая буржуазия, и высшие слои рабочего класса. По мере того как повышается уровень жизни, все большего числа людей, а человеческие отношения типичные для индустриального общества, вытесняют отношения, проникнутые феодальным или буржуазным духом (в том смысле, какой придавал этому слову Бальзак), по мере того, как *партикуляризм* и *качество* сменяются *универсализмом* и *доступностью*, а техническая или административная рациональность подменяет собой авторитет традиции, семьи или денег, по мере этого все более укореняются процедуры электоральной и представительной конкуренции, ностальгия по старому порядку утасает, а революционное нетерпение утихает. Прометеевские амбиции избавить людей от деспотизма вещей уже не кажутся несовместимыми с методом реформ. Марксистская мечта о полностью политизированном обществе или о неотделимом от общества государстве приемлема, пока она воплощена лишь наполовину, но она становится своего рода кошмаром, если иметь в виду ее предельную форму. Управление коллективным трудом в крупных корпорациях оказывается чем-то вроде общественного обслуживания, даже при тех формах правления, которые начертали на своих знаменах *free enterprise* (свободные предприятия). Но разделение сфер далеко от того, чтобы чинить ограничения члену гражданского общества, оно гарантирует ему права, а стало быть, и дополнительные полномочия. Как член профсоюза, через своих представителей, он участвует в обсуждении и своей заработной платы, и условий своего труда. Как гражданин он принимает участие в выборе главы своего города, штата, самой Рес-

публики; он вовсе не обязан подчиняться директивам одной группировки, а свободен в выборе человека, команды, партии — в зависимости от обстоятельств.

Проследивая эту мысль далее, наблюдая за консолидацией либеральной демократии в Западной Европе, приходишь к тому, что я назвал бы современным конформизмом западного оптимизма, чье выражение *конец идеологиям* стало сегодня почти общепринятым<sup>38</sup>. Эта формула означает всего лишь то, что индустриальное общество, достигая определенного уровня благосостояния, пренебрегает идейными конфликтами или столкновением нравов. Всегда были и будут оппортунисты и бунтари, умеренные и неистовые, консерваторы, страшящиеся перемен, и реформаторы, возмущенные несовершенством действительности. Именно эта формула внушает скептицизм по отношению к глобальным системам интерпретации исторического мира, от имени которых одна партия вообразила себя исполненной особой миссией и призванной к ниспровержению существующего порядка и построению абсолютно нового. *Ни марксизм-ленинизм, ни фашизм, ни либерализм* не пробуждают больше веры, сворачивающей горы.

Кроме того, следует провести различие между этими тремя неоднотипными идеологиями и проанализировать разные для каждой из них мотивы, питающие скептицизм. Первой и самой влиятельной из политико-исторических идеологий является идеология марксистского социализма, сочетающая так называемую научную критику капитализма с предвидением и провозглашением неминуемого светлого будущего. Антимарксистские или антисоциалистические учения не содержали идеологий ни в том же смысле, ни в той же степени. Консерватизм, если он не ограничивался ностальгией по сгинувшему порядку, обращал особое внимание на иллюзорные или пагубные претензии революционеров: стремясь заменить наработанное веками и унаследованное в традиции теоретически рациональным порядком, человек абстрактного ума разрушает то, что он должен был бы сохранять, и тиранит тех, кого стремится освободить. Что же касается правых революционеров периода между двумя войнами, то они в разных пропорциях

смешивали элементы консерватизма с элементами, заимствуемыми ими из крайне левых движений (особенно технику действия). Порой они призывали к *тотальному государству*, иному выражению марксистской идеи отождествления общества и государства, порой ставили целью построение *государства тоталитарного*, которое навязывало бы людям свою истину, одновременно поглощая в себе гражданское общество. Демиурга истории, пролетариат, они подменяли то нацией, то расой. Если же говорить о либерализме, то он никогда не представлял собой идеологию, сравнимую по своей структуре с марксизмом или национал-социализмом: в политике он проповедовал ограничение государственной власти, в экономике доверялся добродетелям индивидуальной инициативы и «невидимой руке», согласно, наступающему благодаря действию рыночных механизмов, между эгоизмом отдельного индивида и общим благом. В наше время он старается доказать наличие противоречия между авторитарным планированием и рациональным использованием ресурсов, несовместимость подобного планирования с личными и политическими свободами.

Это повторение основных идеологических тем при всей его краткости наводит на мысль о причинах затухания страстей. На Западе национализм больше не может быть основой для экзальтации, какова бы ни была преданность людей своей нации, так как ни одна нация старого континента не обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы занять первое место среди прочих участников всемирной дипломатии. Революции правого толка опозорились на полях сражений, но еще более — в концентрационных лагерях. В 1945 г. противостоящими оказались лишь советские режимы, окрестившие себя *народными демократиями*, которые по своей начальной идеологии воплощали реальные свободы, и *демократии либеральные*, идеология которых в каком-то смысле всегда была *антиидеологией*.

Будучи либеральными, западные демократии хотят защитить права личности, предоставить возможность добровольного действия всех и каждого: они не притязают на

построение общественного порядка по некоему плану и на подчинение будущего своей воле. Будучи демократическим, западный либерализм признает за народной волей принцип легитимности, а за выборами — применение этого принципа. Ни либеральные идеи, ни конкретно эта демократическая идея не были ослаблены или исчерпаны в результате промышленного процветания, или, по крайней мере, таким не был диагноз, скрывающийся под формулировкой «конец идеологиям». Напротив, окончание идеологий означало повсеместное принятие этих идей, не вызывавших более энтузиазма, поскольку они пользовались почти единодушным признанием. Не система выборов и партий раскрыла добродетели, о коих до этого не подозревали; а именно экономический прогресс позволил, не нарушая конституционных норм, удовлетворить законные притязания на «реальные свободы»: повышение уровня жизни и постепенная интеграция трудящихся в общность — таково конкретное и прозаическое содержание, которое реформы, проводимые в рамках либеральных демократий, мало-помалу придают «реальной свободе».

Вместе с тем антиномии экономических доктрин — планирование или рынок, общественная или частная собственность на средства производства — не будоражат более страсти ни у народных масс, ни у большей части интеллигенции по двум одинаково важным причинам: так называемая капиталистическая экономика поглотила достаточную дозу государственного вмешательства и государственной собственности для того, чтобы социализм представлялся скорее частью реальности, нежели трансцендентным проектом, осуществить который может только бурная революция; смешанный режим, существующий на протяжении 15 лет, принес большей части населения Европы достаточно благ и еще больше обещаний этих благ, чтобы ослабить, если не полностью уничтожить, такое влечение к радикальной революции, которое Маркс символически выразил фразой лионских ткачей: *свобода или смерть*.

В конце концов, укреплению либеральной демократии служил единственный противник, с которым ей еще

приходилось бороться. Революционная надежда питалась незнанием будущего. Маркс воздерживался даже от самого скупого описания социалистического общества. Требовалось, чтобы дистанция в пространстве заменила удаленность во времени, чтобы Советский Союз замкнулся в самом себе, сохраняя тайну и очарование будущего. В течение почти десяти лет после Второй мировой войны патологическая обособленность сталинизма способствовала такому чуду. Внутренняя напряженность во французском и итальянском обществах, некоторые собственно пролетарские традиции, сила организации коммунистической партии, марксистские симпатии нескольких крупных мыслителей — все эти причины в совокупности привели, по-видимому, и к идеологическому спору: более или менее мифический пролетариат (но лишь часть действительного пролетариата) оставался сердцем, а философия (марксизм-ленинизм, дополненный экзистенциализмом) головой этого освободительного движения. Смерть Сталина, разложение идеологической дисциплины, абсурдной, и в то же время зачаровывающей, наконец, знаменитый доклад на XX съезде партии<sup>39</sup> о культе личности и преступлениях недавно обожествляемого тирана нанесли последний удар по тому явлению, которое Ч. Милош назвал *новой верой*<sup>40</sup>. Революция, воплотившаяся в несовершенном обществе, потеряла привлекательность авантюры и неизвестности; более того, отныне она оправдывала себя эффективностью (показателями экономического роста), а не человеческими ценностями. У либеральной демократии еще был враг, но, по сути, уже не идеологический: ведь она осуществляла то, чего справедливо требовали социалисты, и так называемый революционный режим считал своей высшей заслугой то же, что Маркс приписывал капитализму: накопление, накопление — вот закон и пророки.

Не поставили ли мы тем самым псевдопроблему? Ведь три идеала: личной судьбы, буржуазного гражданства и технической эффективности (как гарантии всеобщего материального освобождения) — вот-вот станут реаль-

ностью благодаря чудесам техники и организации; их воплощение в жизнь будет, может быть, неполным, но непреложным и одновременным.

Против такого оптимизма могут выступить пять оппонентов, или, точнее сказать, возможны пять видов возражений, потому что всякий оппонент вправе привести одновременно несколько разных возражений.

1. Большинство новых государств не колеблется между идеалом буржуазного гражданства и идеалом технической эффективности; они жертвуют личными свободами в пользу экономического развития.
2. Советские государства совершенно чужды и враждебны ценностям либеральной демократии, по крайней мере некоторым; идеологи марксизма-ленинизма продолжают отрицать, сегодня с не меньшей решительностью, чем вчера, что многопартийная система или обсуждение государственных догм являются составной частью свободы.
3. Хватает социалистов, чтобы отвергнуть вошедший в моду конформизм и противопоставить мнимому примирению формальных и реальных свобод постоянную нищету в обществах, именующих себя обществами изобилия.
4. С другой стороны, приверженцы либерализма обвиняют социализм в том, что он увлекает западную экономику *on the road to serfdom*<sup>41</sup>.
5. Наконец, критики массовой культуры и индустриального общества опасаются, как бы прежние формы свободы не были мало-помалу сведены к простой видимости и рабочий предприятия не стал всего лишь колесиком механизма, а в государственной сфере — пассивным участником некоего ритуала, поскольку выбор той или иной группировки не меняет проводимой политики, а сами правящие подчиняются силам, остающимся в тени, неотраженным в конституции, но тем более опасным для индивидов, и даже для тех, кого избрали для управления государством.

\* \* \*

Относительно вероятности распространения свободы — в том смысле, который вкладывает в нее либеральная демократия, — за пределами Запада я ограничусь несколькими краткими замечаниями. В сравнении с той темой, которую мы хотели бы обсудить, эта относится к темам,

если угодно, маргинальным: в конечном счете, вне пределов Запада найдется немного наций, окрещенных «новыми», которые заслуживали бы именоваться «индустриальными». Мы хотели бы лишь предостеречь от двух идей, которые сами по себе верны, но из которых кое-кто склонен делать ложные выводы<sup>42</sup>.

Следует иметь в виду, с одной стороны, корреляцию между уровнем экономического развития (доходом на душу населения, степенью урбанизации и индустриализации, сокращением процента неграмотных) и институтами либеральной демократии; с другой стороны — несовместимость или о весьма малую совместимость многопартийной формы правления с задачами, стоящими перед формирующимися нациями. То, что за пределами Запада найдется мало примеров либеральной демократии, не доказывает, что у населения Запада специфическое определение свободы или что подобный режим не является обычной надстройкой индустриального общества. Большая часть Азии, Африки и Америки — это либо развивающиеся страны, либо новые государства; страны советской сферы влияния подчинены, вопреки духу и стремлениям их народов, деспотизму, навязанному либо меньшинством, либо иностранной державой. Добавим, что вне советского мира существуют две большие страны, одна из которых подтверждает эту теорию — Япония, индустриальная и демократическая, — а другая составляет исключение, может быть временное, но наглядное — Индия, для которой характерно все то, что не благоприятствует либеральной демократии и которая, однако, поддерживает этот режим со времени своего освобождения, т. е. в течение 15 лет (период, конечно, слишком короткий, чтобы можно было в историческом плане вынести категорическое суждение о совместимости недостаточного экономического развития страны, обширной, как целый континент, имеющей древнюю цивилизацию, но политически новой, и либеральной демократии, англосаксонской по своему происхождению)<sup>43</sup>.

Либерально-демократические или, на языке, которым я пользуюсь в другом месте, конституционно-плюралистические<sup>44</sup> институты не укоренились в большинстве



«освобожденных» государств Азии и Африки. Игра людей и партий есть, так сказать, приведение к конституционной форме, быть может, ожесточенного соперничества между кандидатами на власть. Я намеренно употребляю слово *игра*, потому что игра, когда она носит *состязательный* характер, определяется четкими правилами и конкретными пространственно-временными рамками, внутри которых должны держаться ее участники. Регулярное повторение выборов символизирует одновременно продолжение игры (победа никогда не бывает окончательной) и ограниченность числа партий. Оппозиция, проигравшая предыдущую партию, должна дожидаться следующей, не мешая в этот период большинству и правительству выполнять свои функции. Другими словами, институты либеральной демократии, как они установились в Северной Америке или в Западной Европе, определяются не столько суверенитетом народа или всеобщим избирательным правом (почти все современные режимы практикуют голосование и ссылаются на народную волю), сколько организацией соревнования, насыщенного готовыми взорваться страстями. Те, кто находится у власти, испытывают сильное искушение не подвергать себя риску ее потерять; у тех, кто ее лишен, есть большой соблазн использовать незаконные средства, чтобы ее добиться.

Этот анализ, каким бы примитивным он ни был, указывает на причину, никогда ранее не упоминавшуюся, по которой конституционно-плюралистическая демократия потерпела неудачу в большинстве новых стран; режим этот, как и все другие творения рук человеческих, является *искусственным*, он кажется особенно искусственным тогда, когда не связан с историческими корнями нации, а приходит извне. Впрочем, в слове «искусственный» нет ничего принижающего; здесь подразумевается как *ухищрение*, так и *искусство*. Те, кто непосредственно наблюдал за соперничеством партий в палате общин, охотно согласятся с тем, что парламентские ритуалы с их традиционной стилизацией являются произведением политического искусства, которое благодаря глубокой мудрости признает необходимость определенных приемов для укрощения страстей, допуская их

символическое выражение. Но эти приемы не будут уважаться, если они потеряют свой престиж. В тот момент, когда не только советские люди, но и жители Запада обещают их, станут смотреть на них, как на роскошь богатых стран, они еще больше сократят их шансы на выживание. Если легальная оппозиция не будет считаться во всем мире гарантией статуса, доказательством современности, если она покажется институтом буржуазной эпохи, тогда силы, противостоящие этим институтам, станут непреодолимыми. Первая причина, по которой в Индии, несмотря на все неблагоприятные условия, которые легко могли бы перечислить социологи, до сих пор сохраняется парламентаризм британского типа, заключается в том, что он представляет *первостепенную ценность, по крайней мере для политического класса*. Высокая оценка режима, оставленного в наследство империалистической державой, конечно, не достаточное, но определенно необходимое условие для поддержания в «новом государстве» парламентских ухищрений. В этом отношении бывшие британские колонии стартовали лучше, чем французские.

Рассмотрим теперь страны, добившиеся независимости и установившие у себя режим, по нашим понятиям деспотический. И советские люди, и жители Запада, за исключением малочисленного и отверженного меньшинства «колониалистов», оказывают моральную поддержку национально-освободительным движениям, таким как, например, фронт национального освобождения в Алжире. Однако независимый Алжир получил от меньшинства, захватившего власть, авторитарную конституцию с единственной партией и президентом, являющимся одновременно главой этой партии. Среди тех, кто вел борьбу, некоторые оказались в изгнании, внутри страны или за ее пределами, а иные из тех, кто разделял с нынешним президентом тюремное заключение во Франции, ощутили прелесть национальной свободы только в перемещении из французских тюрем в алжирские<sup>45</sup>. Без виселицы не бывает революции, без революции — национального освобождения, следовательно, не бывает национального освобождения без виселицы.

Было бы лицемерием выражать удивление или возмущение. Ни английская, ни тем более французская революция не избежали виселиц и крови. Речь идет о самом смысле понятий. Надо ли употреблять одно и то же слово для обозначения «свободы нации» и «свободы гражданина»? Имеет ли национальное освобождение что-либо общее с освобождением человека? В некотором смысле это просто вопрос словоупотребления, и Фредерик А. Хайек<sup>46</sup> вправе определять свободу таким образом, что это понятие применяется исключительно к людям и наличию у них возможности автономного выбора. Однако обыденное значение этого слова обнаруживает родство между обозначаемыми им явлениями, какими бы разными они ни казались.

Только о человеке можно сказать, что он свободен или несвободен, потому что свобода предполагает способность рефлексии и принятия решения, которой одарен только человек. Но когда группа людей добивается во имя народа или ради потомков права формирования нации и государства, она придает всей общности определенный вид единства, сравнимый с единством личности. Эта коллективная личность проявляет себя в отношениях с себе подобными на международной арене, она считает себя уникальной и верит, что на нее возложена особая миссия, которую никто другой не сможет исполнить. Более того, независимость этой общности есть условие конкретных, подлинных свобод для каждого из ее членов.

Здесь вполне можно было бы вновь провести различие между формальными и реальными свободами в смысле, несколько отличном от марксистского. Предположим, что интеграция, к которой так долго стремились алжирцы и которая была дарована им тогда, когда они<sup>47</sup> требовали независимости, была бы им действительно предоставлена: были бы они освобождены, если бы подчинялись тем же законам и пользовались теми же правами, что и французы? Ничто не дает оснований для такого заключения. Реальная свобода, свобода, которую люди ощущают как таковую, зависит от нравов и людей не меньше, чем от законов.

Разве алжирцы от Дюнжерка до Таманрассета стали бы гражданами Франции? Для этого потребовалось бы, чтобы условия конкуренции не были более благоприятными для представителей большинства (в случае, если бы молодые алжирцы проходили по тому же конкурсу и претендовали на те же дипломы, что и молодые французы). Потребовалось бы, чтобы равенство, *формально* записанное в законах, соблюдалось. Если бы политика, к которой стремились в конечном счете некоторые алжирские партизаны, была превращена в жизнь, то вероятно, в скором времени *реально* возникло бы противоречие, составляющее суть того, что в США называют «проблемой чернокожих», противоречие между правами человека, признанными законом за всеми гражданами, и неравными возможностями выбора и продвижения по социальной лестнице, что является следствием предрассудков социальной среды или неприязненного отношения к определенным группам в конкурентной борьбе, которое устанавливается у этнического большинства.

Другими словами, образование независимой нации становится для населения, даже интегрированного в либеральное государство, условием личных свобод. Человек не будет чувствовать себя свободным, даже если при действующем законодательстве он должен испытывать такое чувство, пока различие между этнической группой, к которой он принадлежит, и господствующей этнической группой будет существовать реально. Он не сможет добиться позитивной свободы политического участия, пока не признает своим государство, гражданином которого он теоретически является. Если свобода-участие в наше время есть составная часть свободы, как мы ее понимаем, то необходимым элементом свободы или непременно этапом ее достижения является национальное освобождение.

Но вот новый парадокс: есть опасность, что этот этап не приведет к цели. Национальное освобождение, монополизированное небольшой группой, требует и добивается такого участия, которое исключает возможность дискуссии и исчерпывается возгласами одобрения. Народы, освобожденные от иноземного владычества, управляемые людьми их расы, исповедующими их религию, говорящими на их

языке, могут воспринимать как освобождение деспотию одного человека или партии. Однако складывается впечатление, что обретение коллективной свободы оплачивается потерей множества индивидуальных свобод.

Кто-то скажет, что это временная стадия. В период сражения никто не удивлялся тому, что не соблюдались индивидуальные права. Чем моложе нация, за которую сражается элита, движимая волей к отделению и независимости, тем многочисленнее люди, которые в силу безразличия или приверженности ценностям колонизаторов остаются нейтральными или враждебными по отношению к национально-освободительному движению, тем больше это движение должно будет укреплять в себе самом и навязывать другим беспощадную дисциплину. Таким образом, независимость закрепляет рождение нации формально, а не реально. Даже если национальное освобождение не повлечет за собой социалистической революции, нация еще не достигнет своей цели в тот день, когда представители нового государства будут приняты в Организацию Объединенных Наций. Плюралистическая демократия родилась в Европе, в стране, которая своим единством и сознанием его обязана династической власти и длительной истории. Плюралистические институты существуют не только на Западе, они, возможно, не являются роскошью богатых стран, но они предполагают существование единого социального организма, которому не угрожают партийные распри.

Обесценение плюралистических институтов, опасность партийных разногласий у неуверенных в себе наций — эти две чисто политические причины во многом объясняют слишком часто встречающийся феномен: «национальное освобождение», монополизированное деспотизмом немногих, подавляет свободы большинства. Конечно, было бы неуместным говорить в тоне превосходства, как будто новые государства должны получить одобрение своих прежних хозяев; но разве лучше было бы хвалить за пределами своих стран то, что мы осудили у себя дома?

Возможно, что в большей части африканских стран, находящихся во французской сфере влияния, никакой другой режим, кроме однопартийного, невозможен, нация

еще не существует в сознании людей, потому что партия, стоящая у власти, не собирается от нее отстраняться, а оппозиция намерена одержать реванш на выборах. Возможно, что за неимением другого пути к престижным и хорошо оплачиваемым постам, политика станет аренной беспощадной борьбы за ограниченное количество благ между многочисленными кандидатами. Возможно, что правящие окажутся там и тут неспособными подчиниться правилам честного состязания и уважать законы. Но отсюда не следует, что единственная партия — это всегда эффективное орудие национального единства, что виселицы — единственное средство мобилизовать немногочисленную элиту, что казни и государственные перевороты — самый подходящий для молодых наций и для первичной индустриализации способ передачи власти.

В какой мере народные массы удовлетворены этими неустойчивыми олигархиями? Безразлично ли для них то, что они лишены права выбирать своих представителей или устранять злоупотребивших властью? В каких странах они оказывают главе правительства (именующего себя демократическим) уважение и повиновение, ранее предназначавшиеся традиционным властителям? Так много вопросов, не допускающих общего или категоричного ответа, ведь ситуация меняется от страны к стране, и даже применительно к конкретной стране ввиду противоречивых отзывов трудно выяснить мнение управляемых.

Если оставить в стороне монолитные партии коммунистического типа, достаточно сказать, что провал плюралистической демократии имеет своей непосредственной и постоянной, хотя и не единственной, причиной неспособность политических классов играть в игру конституционного плюрализма так, чтобы при этом не возникало необходимости в правящих меньшинствах, гражданских или военных; иногда неизбежные в силу обстоятельств, они не всегда отвечают нуждам политического организма.

\* \* \*

В середине XX в. институты либеральной демократии потеряли во всем мире тот престиж, которым они обладали в

начале века. Поскольку все режимы являются демократическими в том смысле, что они провозглашают суверенитет народа и объявляют своей целью, благосостояние народных масс или экономическое развитие страны, решающим критерием становится не свобода гражданина, а действенность власти. Традиция современных государств, по крайней мере англосаксонских — это традиция номократии: власти закона. Отныне функция, приписываемая государству, если воспользоваться выражением Бертрана де Жувенеля, состоит в достижении известных целей: на смену номократии приходит телократия. Больше заботятся об ускорении экономического развития, чем о том, чтобы предупредить нарушение прав человека или тиранию меньшинства. Если такова наша имплицитная система ценностей даже на Западе или, по крайней мере, если мы считаем нормальным, что такая система ценностей существует во всех развивающихся странах, то почему же столько выдающихся умов ждут обращения Советского Союза к либеральной демократии?

Этот парадокс или псевдопарадокс объясняется социологической интерпретацией в духе марксизма, принятой в США и Европе и являющейся другим аспектом того, что я называю интеллектуальным конформизмом. Почти все страны Западной Европы добились стабилизации либеральной демократии в то время, когда их экономика достигла порога изобилия. И вновь перед нами открывается возможность двоякой интерпретации: причинной или функциональной.

Царскую империю подтачивало противоречие между ускоренным развитием современной экономики, наметившимся в последней четверти XIX в. и устойчивостью строя, не приспособленного к новому обществу и вызывающему протест элиты. Война, неожиданно ворвавшаяся в это потрясенное до самых глубин общество, дала революционной партии, имеющей большой опыт подпольной деятельности, хранящей верность якобинской версии марксизма, возможность прийти к власти. В то время как западные социалистические партии фактически признавали, что положение народных масс

улучшается в рамках капиталистического общества и отказывались отделять социализм от представительной демократии, большевики сохранили историческое видение, согласно которому уничтожение обреченного строя — капитализма — ознаменует начало новой эры. Радикалы, требующие всяческих свобод, пока они были лишены власти, в считанные дни или недели становились нетерпимыми к любой оппозиции, даже базирующейся на поддержке большинства избирателей. Партия, воплощая собой пролетариат, вершила историческую необходимость, которая сама, в свою очередь, была инструментом освобождения людей.

Что больше способствовало утверждению советского режима: обстоятельства или идеи, страсти борцов или фанатизм идеологов, концепции, входящие в доктрину, или требования первичной индустриализации, а может быть, главной была катастрофа аграрной коллективизации? Здесь не место спорить об этом, и историки никогда не придут к согласию в отношении меры ответственности; на оценки неизбежно влияет собственное мировоззрение историка. Для нас важно будущее.

Если неверно, что начальные фазы индустриализации детерминируют (в смысле «делают необходимым») деспотизм или же тоталитаризм, то несомненно то, что неизбежное напряжение, связанное с началом экономической модернизации, уменьшает вероятность установления режима, который допускал бы одновременно соперничество партий, участие народных масс, личные свободы. На соответствующих фазах развития в странах Европы режим был иногда парламентарным, но парламентаризм был по сути аристократическим: народные массы оставались либо лишенными политических прав, либо фактически подчиненными привилегированному слою общества. В том, что западные страны жертвуют политическими и личными свободами граждан ради реальных или предполагаемых потребностей модернизации, для нас нет ничего удивительного. Но вправе ли мы считать *либеральные демократии*, примирившиеся с индустриальным обществом, нормальным, если не неизбежным, результатом экономического роста? Есть ли у нас убедительные дово-



ды, позволяющие обернуть против так называемых марксистских режимов саму марксистскую аргументацию и доказать, что либеральная демократия является не целью предыстории, как социализм по Марксу, а итогом исторического развития современных обществ? Как, в конце концов, отказаться от благосостояния ради идеологии изобилия? Как отказаться от личных свобод граждан во имя идеологии полного освобождения?

Ответы на такие вопросы могут быть только умозрительными. У. Росту некоторым образом рассуждает по-марксистски, заменяя производственные отношения, статус собственности, способ взимания прибавочной стоимости объемом национального продукта на душу населения. Неважно, что говорят слова «экономический рост» вместо «развитие производительных сил». Меняется именно критерий, характеризующий состояние базиса: им является уже не система собственности или контроля, а количество средств, создаваемых одним работником или приходящихся на человека. И вновь мы обнаруживаем антитезу Токвиля и Маркса, пробабиллизма и детерминизма. Способны ли мы превзойти неопределенные и банальные формулировки, вроде: *благоприятствует* ли высокий уровень жизни установлению (или восстановлению) формальных свобод, личных или политических? Разве эта расплывчатая фраза не вызывает сомнение следующего рода: в самом ли деле, как полагают сегодня многие наблюдатели, технический рост индустриального общества парализует работу представительных институтов власти?

Действительно, в первой лекции мы сослались на пример польского и венгерского восстаний. Формальные свободы, подобные тем, которых добивались буржуазные революции 1848 г., будучи долгое время упраздненными, в выступлениях против тоталитарного государства вновь наполнялись содержанием. События 1956 г. обладают лучшей доказательной ценностью, чем все социологические теории. Венгры и поляки восстали не столько против низкого уровня жизни или привилегий, сколько против организованной лжи и государственной тирании<sup>48</sup>.

Я не хотел бы умалять само значение антитоталитарных революций. Однако следует признать их тройственный характер: они были национальными, социальными в не меньшей степени, чем либеральными. Коммунистический режим нацией ощущался как нечто чуждое, тогда как в России или в Китае дело обстояло иначе. Кроме того, лишения народных масс из-за крайних мер сталинизма превосходили разумные пределы. В конце концов взрыв произошел, как нас учит история, не в самый сильный период деспотизма, а по случаю, во время разрядки напряженности. Государственные системы советского типа подвергаются опасности революции при разоблачении культа личности, преодолев период его безумия. Этот факт еще не доказывает, что советское общество само по себе по мере возрастания достатка стремится к демократии.

Многие наблюдатели делают ошибку, смешивая внутренние противоречия, неустойчивость режима правления с неизбежностью определенно направленного развития. Греческие философы проявляли больше мудрости, усматривая в любой форме правления зачатки разложения. Конституционно-плюралистический строй тоже основывается на неустойчивом компромиссе, потому что требует уважения норм, нарушать которые очень часто выгодно и правительству, и оппозиции. Это не мешает существованию таких режимов; но пока будет продолжаться история, т. е. пока будут происходить социальные изменения и столкновения интересов, они никогда и нигде не установятся окончательно. В конечном счете, они будут зависеть от уважения норм и от воли избирателей и избранников обеспечить их соблюдение.

Внутреннее противоречие однопартийной государственной системы, конечно, совсем иное, чем плюралистической. В условиях этой последней различные фракции политического класса одновременно или последовательно оказываются заинтересованными в использовании методов, приносящих быструю отдачу, но противоречащих неписаным правилам самой игры. При правлении советского типа у всего политического класса, у партийной верхушки есть один

интерес — поддерживать свою монополию и оправдывающие ее догмы. Более того, сколь бы ожесточенными ни были перепалки между отдельными мятежниками или группами таковых, никто из соперников не обращался к народным массам. Самое большее, что мог предпринять в 1957 г. Н.С. Хрущев, это, имея меньшинство в Президиуме, взять верх благодаря быстрому созыву Центрального Комитета партии. Узкополитическая олигархия тоже разделена на неорганизованные группы, и каждый олигарх, возможно, также раздираем внутренними противоречиями.

Из двух задач большевистского движения — развития производительных сил и построения социализма — первая, бесспорно, главенствовала начиная с 1928 г. Электрификация и Советы, как говорил Ленин: Советами пожертвовали в пользу электрификации, затем крестьянами — в пользу индустриализации и, наконец, массовым потреблением — в пользу тяжелой промышленности. Равенство стало не более чем мелкобуржуазным предрассудком, а объективность — всего лишь уклоном. Смотреть на мир, не разделяя точку зрения рабочего класса, — значит уже предать этот класс, допустить, что истина или всеобщее благо существует над враждующими классами. Еще в 1963 г. накануне разрыва с Пекином и подписания договора о приостановке ядерных испытаний Н.С. Хрущев повторял, что наличие на земле классов — благоприятно для пролетариата и губительно для буржуазии, и наоборот. Другими словами, стоящий у власти марксизм-ленинизм безудержно предавался технократическому духу или, если угодно, духу «строителей пирамид». Однако прометеевский идеал не приводил к отказу от идеала гуманистического, но отдалял идеал либеральный, который, впрочем, так никогда и не нашел достойного места в марксизме, и даже у самого Маркса. Согласно революционной интерпретации марксизма, организация класса в партию, взятие власти партией и диктатура пролетариата (или от имени пролетариата) составляют необходимые этапы на пути освобождения, само же оно предполагает исчезновение классов, возникновение общества без антагонизмов и слияние общества

с государством: только в конце пути формальный либерализм будет восстановлен и исполнен в реальном либерализме.

Это историческое видение не опровергнуто ходом событий; утверждая легитимность партийной власти, оно выполняет на Востоке ту же функцию, что и суверенитет народа или понятие демократии на Западе. Но государственный строй, оставаясь идеократическим, от этого не менее уязвим. До какого предела возможно признание за партией абсолютной власти интеллектуального порядка? Каковы требования доктрины применительно к биологии, живописи, музыке? В этом заключается противоречие идеократии. Она ссылается на науку, поскольку с ее точки зрения марксизм научен. Она распространяет научную культуру как главное условие социалистического строительства, триумфа человека над природой. Но в то же время она ограничивает дискуссию, ущемляет права творческих людей, художников или писателей во имя принципа авторитета — принципа, окрещенного классовой истиной. В сталинскую эпоху классовая истина распространялась даже на биологию (необходимо было, чтобы приобретенные признаки стали передаваемы, чтобы сам человек трансформировался благодаря социалистическому строительству). С тех пор классовая истина больше не вмешивается в области естественных наук. Но тем более нетерпимой она должна была стать в социально-исторической сфере. Марксистско-ленинская идеология не приемлет мирного сосуществования с другой идеологией; для нее это было бы равнозначно самоотречению и саморазрушению. Если путь к социализму с необходимостью не проходит через диктатуру партии, воплощение пролетариата, то на чем же тогда основана партийная монополия и к чему столько насилия и жертв? Между естественными науками, которые нужно освобождать в интересах эффективности, и социально-исторической идеологией, которую нужно ужесточать в интересах политической безопасности, неустойчивое положение занимают писатели и художники, то призываемые к дисциплине, то избавляемые от тирании бюрократов.

Следует ли заключить, что противоречие неразрешимо и режиму не удастся ни удовлетворить интеллектуалов, стремящихся к формальным свободам, ни подавить неотъемлемые желания человеческой природы усиливающиеся вследствие развития советского общества? Кроме того, возникает еще один вопрос: каким образом идеологам, в конце концов, удастся сохранить догму о беспощадной борьбе классов, режимов, каждый из которых воплощает определенный класс, в то время как индустриализация и повышение жизненного уровня примиряют рабочих Запада с капитализмом не хуже, чем советских рабочих — с так называемым социализмом? Эти противоречия существуют, и разъедание идеологии временем, все большим и большим уходом революции в прошлое, прозой реализованного социализма, сходством режимов, теоретически обреченных на смертельную борьбу, неизбежным сближением враждебных государств, объединенных угрозой термоядерной войны, не покажется таким уж безрассудным.

Но такое разъедание, если допустить его вероятную долгосрочность, не предполагает обязательного падения режима или смену однопартийной системы конституционным плюрализмом, как безразличие к идеям, воодушевлявшим *отцов-основателей*, не ведет с неизбежностью к провалу либеральной демократии. И здесь, и там государственные системы подвержены коррупции; конституции, т. е. политические процедуры, со временем устаревают, но идеократия, подтачиваемая скептицизмом, способна выжить, поскольку основная масса населения при системе такого рода не имеет опыта политического участия в управлении, который включает предвыборную конкуренцию, и не видит в нем необходимого выражения свободы.

Без сомнения, в период культа личности у советских граждан трагическим образом отняли свободу-безопасность, по выражению Монтескье. Они к ней стремятся, и ничто не мешает режиму разрешить им, хотя бы отчасти, пользоваться ее преимуществами. Что же касается интеллектуальных свобод, то режим не может ни полностью их отменить, ни открыто признать; он будет сохранять колебания между монополистическими притязаниями

идеологии и требованиями *интеллигенции*. Однако это противоречие, в определенном смысле неразрешимое, не исключает компромисса. Привилегированные слои, партийная верхушка, или технократы, будут угрожать режиму только тогда, когда перестанут верить в ценность социалистического строительства, когда одни заговорщики будут пытаться использовать народные массы против других. Народ же, в свою очередь, взбунтуется лишь тогда, когда социалистическое строительство перестанет открывать перед людьми перспективу лучшей участи для них самих и их детей. Ни одну из этих возможностей нельзя исключить как случайную, и никогда — ожидать как установленную; ничто не является неизбежным или хотя бы вероятным. Короче, я не вижу причин предполагать, что советские руководители перестанут утверждать превосходство своей идеологии и практики и что народные массы вдруг почувствуют потребность в конкуренции партий и станут призывать к выборам и парламентским обсуждениям, символу или воплощению свободы.

Грубо говоря, *институты представительной демократии не кажутся мне в наш век необходимым выражением всеобщего желания свободы*. Среди свобод, названных Марксом формальными, две, на мой взгляд, — защита от полицейского произвола и ограничение принципа власти в интеллектуальной области — отвечают неубывающим потребностям человеческой природы. Никогда полицейский произвол или государственная ортодоксальность не представлялись ни человеку с улицы, ни мыслящему человеку, вопреки всем тонкостям диалектики, формой свободы. В этом отношении значение слова «свобода» не различается ни на Западе, ни на Востоке; реакция на крайности сталинизма вернула «всем словам с этим корнем их истинный смысл». Зато институты, которые считают на Западе характерными для обеспечения собственно политической свободы — участие граждан в управлении общественными делами (прежде всего, за счет выборов, а также за счет принятия решений и контроля по их осуществлению со стороны избранных), — кажутся мне *наиболее соответствующими демократическому*

идеалу но при этом своеобразными, совместимыми с индустриальным обществом, но не предполагающимися таковым даже на этапе достижения богатства.

Историческая особенность этих институтов зависит от многих причин. Любой государственный строй, любая страна сохраняют дух и идеалы своих основоположников. Англо-американцы и их последователи, европейцы, считают выборы и представительные органы власти частью своего наследия, а не вынужденной мерой современного общества. Одни народы, со своими традициями, уважают такое наследие и берут за образец либеральную демократию; другие, возможно, учредят ее, восстав против однопартийной системы. У иных еще есть шанс добиться конкретных свобод, к которым они стремятся (безопасность, благосостояние, возможность продвижения по службе, участие в общественной жизни), минуя партийный плюрализм и легализацию оппозиции, кажущиеся нам здесь, на Западе, необходимым условием политической свободы. Что же касается активистов и идеологов советской партии, то они могут стать революционерами, устыдившись трагическим противоречием между ценностями, на которые они ссылаются, и реальностью, в которой живут. Таким было исходное противоречие венгерской революции, но венграм режим был навязан извне, и ложь усугубляла лишения. Будь страны Восточной Европы предоставлены самим себе, они уже сегодня восстановили бы партийный плюрализм. Возможно, даже русские выбрали бы путем референдума многопартийную систему вместо однопартийной, получи они сегодня чудом такое право выбора. Но чудес не бывает; народы стремятся к свободам, однако не обязательно к ликвидации однопартийной системы.

Нужно ли говорить, что в наше время существуют две концепции свободы или что среди индустриальных обществ бывают как деспотические, так и либеральные? Оба утверждения содержат долю истины, но ни одно из них меня не удовлетворяет. Итак, можно объявить, что свобода заключается в праве управляемых выбирать себе правителей, и в отсутствие выборов, на которых идет борьба

как между отдельными людьми, так и между партиями, нет и свободы. Неудобство такого определения состоит в путанице между понятием, значение которого не ограничено ни временем, ни рамками цивилизации, и историческим своеобразием сложившихся институтов. Не доказано, что сами люди рассматривают эти институты в качестве необходимых для осуществления тех прав и возможностей, которые представляются им реальным содержанием свободы, а именно: безопасность, участие в общественном управлении, благосостояние, продвижение по службе. Конечно, абстрактно однопартийная государственная система по отношению к демократической идее, на которую она ссылается, уступает конституционно-плюралистической: она не подвергает сомнению основополагающую идеологию и в настоящее время оправдывает отсутствие социального и идеологического плюрализма только созданием нового порядка и формированием нового человека. Стало быть, идеократический режим не оказывается устойчивым, как нормальное выражение демократии или как конечное осуществление свободы. Но либеральной демократии тоже не удастся избежать критики. Дескать, участие в общественной жизни за счет партийного выбора — это карикатура на подлинную свободу. Аргумент, который мы не принимаем, но и не считаем абсурдным, так как те, кто на Западе комментирует кризис либеральной демократии, задаются вопросом: какой вклад вносят в политическую свободу институты, унаследованные от века Просвещения и буржуазии, трансформированные и, может быть, истощенные в условиях массового общества.

\* \* \*

Связан ли нынешний синтез формальных и реальных свобод с фазой индустриального роста, и следует ли ожидать его дальнейшего постепенного разрастания, или же, наоборот, он является частью западного наследия и осужден на окончательное своеобразие? В историческом плане это, возможно, самая важная проблема. Но в плане теоретическом нам важнее другие проблемы. Соответствует ли реальности конформистское представление об обществе изобилия,



бесконфликтном, несмотря на бесчисленные перепалки, или же это представление — лишь иллюзия, даже мистификация на службе у привилегированных слоев?

Теперь мы хотели бы обратиться к критике теории общества изобилия (или, вернее, той ее вульгарной интерпретации, в которой она закрепилась) со стороны левых, подтвержденной неопровержимыми статистическими данными. Центральным объектом этой критики является неравенство. Свобода, даже реальная свобода в марксистском понимании, не включает равенства. Однако с некоторых пор бедность соответствует рабству, которое Маркс разоблачал под маской формальной свободы. Достигнув определенной степени концентрации, богатство влечет или грозит повлечь за собой такое могущество нескольких человек, сговора, что демократические фикции неизбежно ставятся под сомнение<sup>49</sup>.

Прежде всего напомним, что во Франции (а также в Западной Европе) и даже в США изобилие, рассчитанное, исходя из средней покупательной способности, еще очень относительно. С 1960 по 1985 г. во Франции потребление на душу населения должно увеличиться в 2,5 раза (если исходить из годового увеличения производительности труда на 4,7%). Оно составит — в ценах 1959 г. — около 9100 франков в год против нынешних 3700 франков<sup>50</sup>. В 1960 г. ВВП на душу населения во Франции составлял 63% от ВВП США (100%) в средневзвешенных американских ценах и 41% — в средневзвешенных европейских ценах. В 1985 г., если прогнозы Комиссариата по планированию подтвердятся, французский ВВП на душу населения возрастет до 152 % по отношению к ВВП США 1960 года в средневзвешенных американских ценах и до 115% — в средневзвешенных европейских ценах. Эти сопоставления позволяют извлечь двойной урок: с одной стороны, при темпах экономического роста, характерных для 50-х годов, уровень жизни во Франции будет быстро приближаться к нынешнему американскому. Этот последний, даже без учета неравенства, далеко не равнозначен изобилию, каким оно представляется доктринам социализма определенного толка; во всяком случае,

для большинства семей существует большой разрыв между действительной покупательной способностью и той, которая необходима для нормального удовлетворения потребностей.

В Англии, согласно налоговой статистике, опубликованной в 1963 г.<sup>51</sup>, реальный доход в течение 50-х г. вырос с 3 до 4% в год, но 80% налогоплательщиков в 1960 г. по приблизительным подсчетам имеют без налогового вычета менее 2600 долларов в год, т. е. 1 100 франков в месяц. (Налоговая статистика не берет в расчет самую бедную часть населения). По той же статистике 5% самых богатых налогоплательщиков в 1960 г. без налогового вычета получали 18,6% национального дохода против 19,7% в 1955 г. и 23,2% в 1950 г.<sup>52</sup> В течение этого периода самый быстрый рост наблюдался у тех групп среднего достатка (от 200 до 475 фунтов в год), чей доход удвоился (при росте цен на 50%), в то время как на верхней ступени он реально не превысил 27%, а внизу был еще более медленным<sup>53</sup>.

Помимо очень относительного характера изобилия в качестве неопровержимого факта можно отметить, что неравенство доходов, а тем более — неравенство состояния остается весьма значительным.

Жильбер Матье, пользуясь налоговой статистикой, определил шкалу доходов во Франции: от 1 до 350 для чистых доходов за вычетом налогов (от 1 до 700 для доходов без учета налогообложения). В отношении состояния отмечается еще более разительное неравенство.

По книге Роберта Дж. Лэмпмена<sup>54</sup>, 1% населения владел в 1922 г. 33% общего капитала США, в 1929 г. — 38%, в 1949 г. — 22%, в 1953 г. — 25%<sup>55</sup>. Если обратить внимание на владельцев самых крупных состояний (более 60 тысяч долларов), то в 1953 г. они представляли 1,6% населения и 30,2% национального богатства. В то время эта категория владела 80% акций, почти всеми государственными и местными займами и имела от 10 до 33% других видов собственности. Из этого можно сделать вывод, что хотя американское общество и стремится в идеале к равномерному распределению ресурсов, но США, как и другие западные страны, пока еще очень

далеки от своей цели. Однако такая цель, как «реальное освобождение», не включает «экономического равенства».

Третье замечание — это скорее вопрос, чем утверждение, который касается изменений в распределении прибыли, сопровождающей экономический рост. Показатели неравенства, как, например, показатель Мориса Аллэ<sup>56</sup> (отношение наивысших доходов к медиане средних доходов), безусловно, подтверждают распространенное представление, что неравенство уменьшается по мере роста валового национального продукта. С другой стороны, налоговая статистика говорит о том же изменении: часть национального дохода, которая приходится на долю 5% налогоплательщиков, стоящих на самом верху иерархической лестницы, постепенно сокращается, особенно учитывая влияние налоговых отчислений. Относительно Великобритании Ричард М. Титмусс не опроверг этого распространенного мнения, но показал, что легальные или полуполюгальные способы сокрытия доходов усовершенствовались, что налоговая статистика дает лишь приблизительное представление действительного их распределения (впрочем, отсутствие нормы налога на прибыль от капитала в Великобритании усугубляет значительный разрыв между реальными доходами и теми, о которых докладывает налоговая статистика, когда дело касается самого богатого меньшинства населения).

Даже не принимая в расчет несовершенство налоговой статистики, она дает совершенно иную картину. Обычно статистика представляет индивидуальные и семейные доходы, подразделяя их на группы. При этом можно заметить, что группа тех семей, чьи доходы составляют от 6 до 15 тысяч долларов, значительно увеличилась в период между 1947 и 1962 гг. и охватила почти половину населения. Если к ней добавить еще одну важную группу — тех, чьи доходы составляют от 4 до 6 тысяч долларов, — и группу, чьи доходы превышают 15 тысяч долларов, то две трети американских семей будут классифицированы как обладатели дохода не ниже 4 тысяч долларов. Но на эти 58,6 миллионов человек остается 18 миллионов, т. е. приблизительно одна треть, чьи

доходы не превышают 4 тысяч долларов. Эта часть населения по определению находится за чертой бедности<sup>57</sup>.

Другой способ представления отмечает скорее постоянные показатели распределения доходов. Если разделить все семьи на 5 категорий, то мы получим следующую таблицу<sup>58</sup> (доля каждой категории в общей сумме доходов без уплаты налогов).

Категории семей	1936—1936 гг. %	1944г.%	1958г. %	Средний доход на семью в 1958 г.
Первая категория	4,1	4,9	4,7	1460
Вторая категория	9,2	10,9	11,1	3480
Третья категория	14,1	16,2	16,3	5110
Четвертая категория	20,9	22,2	22,4	7020
Пятая, высшая категория	51,7	45,8	45,5	14250

Другими словами, произошло некоторое сокращение доли пятой, или высшей, категории семей в пользу трех предшествующих ей категорий, но не в пользу первой, или низшей<sup>59</sup>.

Такая картина, если не учитывать споры статистиков, которые не имеют существенного значения, в принципе не противоречит распространенным представлениям. Если же мы, разделив общее число семей на 5 или 10 групп, допустим относительное постоянство доли совокупного дохода, приходящейся на каждую группу, то для того, чтобы все большая часть населения достигала уровня жизни мелкого буржуа, достаточно, чтобы средний доход каждой группы увеличивался пропорционально среднему доходу всей нации. Если доля заработной платы не уменьшится по отношению к доле капитала, то рост производительности труда будет выражаться в реальном

росте зарплаты. При условии, что в будущем сохранятся те же тенденции, сегодняшнее представление о буржуазном обществе или обществе среднего класса не является ложным, даже если допустить приблизительное постоянство распределения доходов по расчетам, принятым Колко или Харрингтоном.

Однако, принимая во внимание только объем материальных благ, т. е. исходя из самого примитивного значения *реальной свободы*, от двух проблем социализма все равно никуда не деться. Не лишится ли меньшинство при такой системе распределения доходов которая стихийно сложилась в обществе западного типа вопреки прогрессивному налогообложению, того минимума, отсутствие которого приравнивает материальные трудности жизни к своего рода порабощению? Не получит ли другое меньшинство такую долю богатства или власти, что у большей части общества останутся лишь иллюзии относительно определения своей судьбы?

В США начала 60-х гг. проблема бедности становится не только социологической, но и политической. Бедные в богатом индустриальном обществе не представляют собой ни класс, ни группу давления, ни партию. Как явствует из названия книги М. Харрингтона, *речь идет о другой Америке*, об Америке, увиденной с изнанки. Можно отстаивать мнение, что черта бедности (4 тысячи долларов на семью, по сведениям «Bureau of Labor statistics», а чаще — 3 тысячи) была проведена произвольно и что среднегодовой доход (за вычетом федерального налога) беднейшей категории Америки, равный 1413 долларам в 1958 г., во всех других странах считался соответствующим приличному существованию. Но этот довод не кажется мне вполне убедительным по двум причинам.

В каждом обществе минимум определяется коллективным мнением, спонтанно, расплывчатым, но громким решением. Возможно, ни в одном обществе минимум не гарантирован всем (что подтверждают опросы социальных психологов). Но показательно, что относительно значимая часть населения даже в самой богатой стране мира продолжает находиться ниже этого коллективно

оцененного минимума; эта часть составляет от одной пятой до одной четвертой населения США, т. е. от 36 до 50 миллионов человек. Кроме того, бедность определяется в терминах не столько количественных, сколько качественных показателей. Важно понять, в самом ли деле бедность, определяемая статистиками произвольно, путем установления дохода, ниже которого она начинается, ведет к нищете в том смысле, какой вкладывал в это понятие Пеги: не исключаются ли бедные из сообщества и не лишаются ли они достоинства из-за условий своего существования? Судя по опросам, это действительно так, но не для всех, а только для части бедноты.

Из кого же состоит это беднейшее меньшинство? Оно неоднородно: значительную его часть составляют пожилые люди старше 65 лет (8 миллионов) и молодежь моложе 20 лет (11 миллионов); широко представлены одинокие люди, многодетные семьи, расовые меньшинства, негры<sup>60</sup> и пуэрториканцы. Путем анализа следовало бы уточнить причины бедности, чтобы определить степень ее обусловленности тем индустриальным обществом, которое функционирует на Западе.

Часть этой «бедноты» состоит из трудящихся определенных отраслей экономики, часть ее — из проживающих в определенных регионах, т. е. из тех, кто не защищен социальными законами и получает заработную плату ниже официального минимума. Подобной эксплуатации подвергаются иммигранты, прибывшие из Мексики. Усовершенствование федерального законодательства могло бы ликвидировать или сократить такого рода «злоупотребления». Неимущие старики тоже могли бы получать более высокие пенсии. Безработные, чьи профессии отмирают, и не подлежащие переквалификации по возрасту, а также те, кто живет в так называемых регионах спада экономического роста, становятся жертвами экономического подъема, поскольку последний обуславливает бесконечные перемещения рабочей силы из одного сектора экономики в другой, из одной области страны в другую, даже относительный или абсолютный упадок определенных видов деятельности. Это относит-

ся к мелким земельным собственникам, которые не решаются отказаться от занятий сельским хозяйством. Устойчивый уровень безработицы в США (4—5%) даже в период подъема, который вызывали либо слишком быстрые технические преобразования, либо недостаточно мощный экономический рост, явно содержит в себе «резерв бедности», сравнимый с тем, что Маркс называл «промышленной резервной армией». Наконец, молодежь, фигурирующая в этой категории с самым высоким процентом от расовых меньшинств, внушает простую мысль: подобно значительной разнице в доходах населения развивающихся и развитых стран, в самих развитых странах есть риск возрастания неравенства обладателями требуемой при поиске работы квалификации и теми, кто из-за недостатка образования таковой не обладает. Внутри этнически разнородного населения некоторые группы имеют меньше шансов посещать школу или посещают школу худшего качества, и на них несомненно падет гнет неравенства, неотделимый от технической цивилизации. Меньшинство, не получившее образования, — это недоразвитое меньшинство, которое познаёт нищету, живя в обществе изобилия, подобно тому как три четверти человечества страдают от бедности, хотя известно, что полное использование всех имеющихся материальных ресурсов позволило бы ее избежать.

Короче, судьба одних американских бедняков может быть улучшена социальным законодательством (пенсии по старости, пособия по безработице, медицинское страхование), судьба других — постепенным преодолением расовой дискриминации; но среди старых социалистических идей две вновь обрели свое значение. Одна из них — идея относительного обнищания, но не всех трудящихся (что явным образом не соответствует реальности), а индивидов или групп, оказавшихся внизу социальной лестницы из-за их наследственности или по вине окружающей их среды, другая — идея не неизбежности, а опасности формирования «резерва бедности», приписываемого технологической революции.

Надо ли добавлять к этим двум идеям еще и третью, а именно неизбежную связь между концентрацией богатства,

концентрацией экономической мощи и концентрацией политической власти? Что можно позаимствовать из теории Ч. Райта Миллса о *power elite*<sup>61</sup>, представляющей собой вариант марксистско-ленинской теории монополий, переложенной на язык социологии? Лично я рассматриваю эту теорию как любопытную смесь бесспорных фактов и ложных их интерпретаций.

Проблема имеет два аспекта. Каковы экономические последствия сосредоточения значительной части национальных производительных сил на нескольких десятках крупных предприятий? Каковы политические последствия такой концентрации? На первый вопрос нам нет надобности давать здесь категорический ответ. Во всех индустриальных обществах есть крупные финансово-экономические центры управления. Внутри этих центров распределение реальной власти между различными директорами, между экспертами разного рода (технологическими, финансовыми, торговыми) является предметом многочисленных исследований, которые невозможно обобщить в двух словах. Но при всех оговорках, которые требует проведенный Гелбрейтом<sup>62</sup> анализ равновесия властей в системе американского капитализма, режим централизованного планирования еще более ограничивает способность потребителя воздействовать на распределение национальных ресурсов. Директора крупных компаний не образуют единой группы, сознающей себя и свои стремления, хотя очевидно, что они будут настроены враждебно по отношению к реформам, несовместимым с функционированием государственной системы, которой они обязаны своим положением и своим преуспеванием.

Они подозреваются в теневом воздействии и в тайном управлении в большей степени в сфере государственной, чем в экономической. Характерной чертой индустриальных обществ западного типа представляется мне не то, что директора в них обладают властью — иначе и быть не может, — а то, что их могущество ограничено двояко: во-первых, сами они не осуществляют политической власти, она принадлежит людям, которые в соответствии с правилами промежуток времени избираются гражданами государства; во-



вторых, политическая власть действует по конституции и наталкивается на противодействие объединений, или групп давления. То что Кеннеди — ставленник Уолл Стрит, а генерал де Голль — Ротшильдов или самых современных промышленников — миф, который не заслуживает того, чтобы его принимали всерьез. Три армии и военная промышленность вместе образуют группу давления, отставные генералы занимают посты в промышленности, а промышленники сотрудничают с федеральными службами, которые отдают приказы крупным фирмам, — а разве могло быть иначе? Чтобы тезис приобрел историческую значимость, требуется доказать, что внешняя политика США определяется не президентом и не мнением, которое политический состав и сознательное меньшинство выносит об интересах нации, а давлением, оказываемым на федеральные власти военными и промышленниками, заботящимися о собственных интересах. Но об этом доказательстве никто даже не упоминает.

Я не отрицаю опасности, которую представляют экономико-политическая концентрация власти, расширение государственной деятельности, многочисленные связи между гражданскими или военными функционерами и промышленниками. Но эта опасность, неотделимая от структуры технического общества, неизбежно возросла бы при развитии в обществе марксистско-ленинских концепций социализма. Чтобы критика концентрации власти была убедительной, социализм должен помнить скорее о своем либеральном вдохновении<sup>63</sup>, чем о своих прометеевских амбициях.

Марксистско-ленинская критика индустриального общества западного типа кажется мне сегодня отчасти смехотворной. Подытоженная в систематической форме, она выводит из частной собственности на средства производства анархию рынка, из анархии рынка — всемогущество монополий, из монополий — империализм (колониальную политику или агрессивность неоколониализма), а из крушения империализма — последующую парализацию государственного режима. Это идеологическая систематизация в уничижительном смысле слова:

частная собственность на средства производства не исключает известной степени планирования, и все европейские экономические системы имеют достаточно обширный сектор коллективной собственности. Крупные предприятия не являются монополиями и поэтому не заинтересованы во внешних владениях. Экономисты и менеджеры, рядовые граждане и политики признали, что колонизация в наше время становится по большей части дорогостоящей, так как колонизатор берет на себя ответственность за экономическое развитие населения, которое он подчиняет своим законам. Когда к затратам на инвестиции добавляются затраты на поддержание порядка, груз становится непосильным. Наконец, никогда показатели экономического роста на Западе не были так высоки, как после войны. Заявление о парализации капитализма, повторяемое с 1848 г. Марксом и марксистами, теперь уже не столь убедительно даже для идеологов Москвы.

Но критика, которую европейцы называют левой, а американцы — радикальной и которая, по мнению европейцев, является одновременно социалистической и либеральной, тем не менее не потеряла своего значения. Ей следовало бы не отрицать очевидное — способность экономики западного типа приумножать ресурсы и увеличивать благосостояние, — а настаивать на определенных условиях, в которых развивается экономика, и, в частности, на некоторых фактах, обнаруженных при анализе американской бедности: число жертв прогресса, опасности внутреннего недостаточного развития, неравномерное распределение прибылей от экономического роста, неоправданно высокие доходы (например, земельных собственников), наконец, концентрация экономической власти. Короче говоря, левая критика должна была бы возобновить требования реальных свобод, или материальных условий свободы во имя тех, кто страдает от экономического прогресса, и требования формальной свободы, во имя трудящихся и потребителей; я говорю об условиях, необходимых для того, чтобы выборы и представительные органы власти казались гражданину (и были на деле) выражением реальной свободы.

\* \* \*

Социалистическая критика, принимая она идеологический характер в марксизме-ленинизме или эмпирический — у нонконформистов, левых или крайне левых, по-прежнему имеет важное воздействие. Конечно, по сравнению с тридцатыми годами она находится в упадке. Даже во Франции и в Италии идеологи, настроенные ортодоксально по отношению к Москве, насторожились. Они охотнее обсуждают высокие темпы экономического роста в СССР, чем абсолютное обнищание. В молодом поколении французских интеллектуалов насчитывается все меньше и меньше «прогрессистов», которые на манер Жана-Поля Сартра от большой утонченности, стараются подойти к одному из самых грубых во всей истории догматических учений. Но «нереальность» освобождения человека в обществе изобилия западного типа, нереальность для жертв, как мы это видели, нереальность даже для тех, кто остается в выигрыше, как мы это увидим, является широкораспространенной темой для обсуждения, особенно среди интеллектуалов левого толка, расставшихся с марксизмом-ленинизмом.

Критика, которую мы будем называть либерально-индивидуалистической или, иначе, «критикой вигов»<sup>64</sup>, та, которая наиболее систематично и красноречиво изложена в книге Хайека, почти не имела успеха за пределами узких кругов. Боюсь даже, что большинство моих читателей будут удивлены тем значением, которое я придаю ей, ставя в один ряд с критикой, идущей с другого края. Я делаю это намеренно, потому что нонконформисты заслуживают симпатии и уважения; ведь Ф. А. Хайек — нонконформист по преимуществу, который, защищая дело либерального индивидуализма, идет против течения, зная, что обречен на одиночество. Кроме того, было бы ошибочно лишать обвинения вигов всякого значения. Смешанная экономика, либеральная демократия, *Welfare state*, несмотря на то что, на мой взгляд, в настоящий момент они являются наилучшим компромиссом между различными свободами, которые современное общество стремится предоставить людям, дают повод для возражений двоякого рода: со стороны тех, кто хотел бы освободить всех людей

*from want and from fear* (от нужды и страха), и со стороны тех, кто желает ограничить власть государства и произвол администрации, дабы дать как можно больший простор индивидуальной инициативе и частной сфере.

Идеи Ф. А. Хайека серьезно не изучались, часто из-за быстрого прочтения «*Road to Serfdom*», их вообще отбрасывали, безоговорочно и без колебаний<sup>65</sup>. Если бы критика «вигов» действительно сводилась к явно ложной идее, что вмешательство государства в экономическую жизнь неизбежно повлечет за собой тотальное планирование, ведущее к тоталитарному государству, то причину этого было бы нетрудно понять. Кризис 1929 г. предоставил шанс тоталитарной партии. Тотальное планирование, примененное революционными партиями, коммунистической и национал-социалистической, было результатом захвата власти, но оно никогда не было последним достижением выступавшей за частичное планирование, например, лейбористской партии, остававшейся верной либеральным ценностям. Более того, указательное направляющее планирование по-французски — *если считать его причиной быстрого роста французской экономики* — скорее консолидировало плюралистические институты, чем ставило под угрозу формальные свободы.

Оставим ту философию истории, которая на манер марксистской философии заявляет о фатальности пути к рабству, но обосновывает эту фатальность не неустраняемыми противоречиями в системе частной собственности и конкуренции, а ложными идеями и презрением либеральных ценностей, распространяемых мыслителями-социалистами. Существенным в книге Хайека мне представляется не предсказание тоталитарного режима в конце пути, которым следуют западные общества (впрочем, в явном виде в книге оно не фигурирует), а денонсирование ударов, наносимых теперь по личным свободам — таким, какими их мыслили *founding fathers*, Токвиль или Джон Стюарт Милль.

Чтобы понять мысль Хайека, за исходный пункт возьмем определения, которые он дает понятиям, и заданную им иерархию ценностей. Он не определяет свободу через

демократию, т. е. через суверенитет народа, или абсолютизм всеобщей воли (воли большинства). Он, как и Токвиль, — демократ, поскольку он либерал, и никто иной.

Равенство перед законом приводит к требованию всеобщего равного участия людей в законоустановлении. Такова точка пересечения традиционного либерализма и демократического движения. В то же время у них есть и другая обеспокоенность. Либерализм (в том значении, какое это слово имело в Европе в прошлом, XIX веке) особенно озабочен ограничением принудительной власти, которой обладает любое правительство, *будь оно демократическим или нет*, тогда как догматическому демократу известно лишь одно ограничение правительства — расхожее мнение большинства. Разница между этими двумя идеалами прояснится со всей ясностью, как только мы обозначим термины, в которых они противопоставляются: демократия противопоставляется авторитарному правительству, либерализм — тоталитаризму. Ни одна из этих двух систем не исключает с необходимостью противоположность другой: у тоталитарной власти может быть демократия, и вполне допустимо, что авторитарное правительство руководствуется либеральными принципами<sup>66</sup>.

Это противопоставление кажется мне вполне приемлемым, хотя многим сегодня оно не нравится. Сидни Хук<sup>67</sup>, мой предшественник на этой кафедре *Джефферсоновских чтений*, является, выражаясь языком Хайека, *догматическим демократом*: с его точки зрения, первая безусловная необходимость состоит в том, что люди должны сами управлять собой, что с народом надо честно советоваться и что воля большинства должна быть учтена. Если же это воля людей плохо образованных, то демократ ей подчинится не без сожаления, но без колебаний. «Подчинение нас самих установленному закону» есть свобода. Ведь демократ в качестве высшего закона установил себе подчинение закону большинства. Я не являюсь «догматическим демократом», но охотно присоединюсь к мнению Хайека: демократия, скорее как средство, чем как цель, — это государственный строй, который особенно в наше время дает наилучшие шансы

сохранить свободу (свободу европейского либерализма). Добавлю, однако, что связь между такой свободой и демократией — более тесная, чем предполагает формула «средство — цель». Демократия обозначает логическое завершение либеральной философии. Выборы, конкуренция партий, собрания составляют, в конце концов, лишь процедуры выбора власть имущих; выбор этот не определяет задач, которые будут ставиться избранниками. Но эти процедуры, при условии их соблюдения, гарантируют регулярную передачу власти от одного человека или группы людей другому человеку или группе. В обществах, где демократическая идея признается в качестве основного принципа легитимности, допустимо (но редко), что авторитарная власть, т. е. власть, не придерживающаяся демократической практики, остается либеральной по способу своего функционирования. Следовательно, Токвиль, вопреки критике, был прав, не давая оценки демократии (в политическом смысле слова), видя в ней нормальное проявление общества без наследственной аристократии и необходимое условие для реализации свобод виггов.

И все же между теми, кто отдает первенство либерализму, и теми, кто отводит его демократии, есть различие в принципиальном плане, которое существенно влияет на принимаемые решения, касающиеся институций или проблем. Надо ли еще — дабы как следует разобраться — определять свободу, которую либерализм ставит превыше всего, ради соображений моральности и полезности. Свобода по Хайеку — это просто-напросто отсутствие принуждения (*coercion*). А принуждение, в свою очередь,

возникает тогда, когда действия одного человека подчиняются воле другого не ради его собственной, а ради чужой цели<sup>68</sup>.

И далее:

Принуждение предполагает угрозу скверного обращения, наконец, установления тем самым определенно-го поведения<sup>69</sup>.

Сущность принуждения заключается в угрозе наложить на другого санкции, если он не подчинится нашей

воле. Принуждаемый теряет способность действовать по своему уму, выбирая себе цели и средства. Он становится орудием в руках того, чьей воле он подчиняется.

Принуждение включает установление одним человеком основных условий поведения другого; поэтому оно может быть предупреждено только предоставлением индивиду способа обеспечить себе частную сферу, внутри которой он был бы защищен от указаний такого рода<sup>70</sup>.

Итак, свобода определяется негативно, как свобода от (from), освобождение по отношению к принуждению, а это последнее возникает, когда один индивид должен служить орудием другому. Свобода соединяется с обеспечением частной сферы, в которой каждый сам себе хозяин.

Какова же конкретная свобода, служащая моделью такому определению свободы? Ясно, что это свобода предпринимателя или потребителя: первый свободен от принуждения в проявлении инициативы и подборе средств производства, второй — в использовании покупательной способности, обеспечиваемой его денежными доходами. Но ни рабочий на производстве, ни служащий крупной организации, ни солдат, подчиненный строгой дисциплине, ни иезуит, давший обет послушания, не свободны, согласно данному определению. Более того, индустриальное общество, видимо по самой своей природе, неумолимо требует сокращения числа тех, кому доступна такая свобода, во всяком случае в работе.

Ф.А. Хайек, кажется, понимает подобное возражение и старается упредить последствия данного им определения. Даже внутри предприятия остается возможность разделять точно определенный специфический порядок, который делает одного человека инструментом другого, и общее правило (*standing order*), предоставляющее исполнителям некоторый резерв самостоятельности.

Способ, которым задачи и знание, направляющие отдельные действия, распределены между руководителем и исполнителем, составляет самое важное различие между общими законами и отдельными порядками<sup>71</sup>.

По мере того, как регламенты становятся все более общими, предоставляя индивидам возможность маневра,

появляется и расширяется сфера личной независимости. В то же время обозначается главное условие свободы: господство закона.

Концепция свободы при господстве закона — основной предмет этой книги — покоится на следующем тезисе: когда мы повинемся законам, т. е. общим и абстрактным правилам, сформулированным безотносительно к их возможному применению к нам самим, мы не подчинены воле другого человека и, следовательно, мы свободны<sup>72</sup>.

Факт состоит в том, что если Власть означает подчинение одних людей воле других, то у правительства нет такой власти в свободном обществе<sup>73</sup>.

Идеал господства закона, пришедшего на смену господству человека над человеком, принадлежит традиции западного либерализма, и я не собираюсь его оспаривать. Но речь идет об идеале, который не вполне приемлем для всех, не приложим ко всем сферам жизни общества. Хотим мы этого или нет, в любом обществе правительство всегда предполагает власть одних над другими: в период кризиса перед лицом других сообществ правители принимают решения, обязательные для всех граждан, неизбежно делая последних своим инструментом. Более того, хотя на предприятии не исключается предоставление кому-то определенной инициативы, современная организация, по существу, превращает десятки, сотни, тысячи людей в винтики некой машины; человек уже не определяет ни целей, ни, в большинстве случаев, средств своей деятельности, т. е. рационализированного труда.

Не отвергая идеала *rule of law*, не сомневаясь в том, что сохранение частной сферы является составной частью свободы, мы теперь начинаем понимать, что наши общества отказываются видеть в свободе *whigs* сущность свободы. Когда речь идет о потребителе, избирателе, верующем, интеллектуале, свобода выбора интересует всех людей; когда же речь идет о труде, она интересует лишь немногих. Эта сфера личной независимости может справедливо казаться ничтожной тем, кто лишен минимума материальных средств или подчинен иностранным правителям, даже при наличии конституционного строя.



Другими словами, свободы либералов не стали безразличны массам, если в них включены безопасность, право говорить и писать, право выбирать своих представителей или право населения создать независимое государство. Зато обвинение вигов будет убедительным только для меньшинства, так как они принимают один аспект свободы за свободу вообще и недооценивают силу уравнилельных притязаний. Свобода потребителя имеет важное значение для всех, свобода предпринимателя — только для некоторых. Замещение общественных директоров частными не удовлетворило стремление к свободе, но и не привело к потере таких свобод, как свобода потребителя, гражданина или ученого.

Однако я не считаю, что критика вигов — в том виде, в каком она представлена у Хайека — ничему не может нас научить. Наоборот, такого рода критику, не соответствующую нашему времени, я рассматриваю как плодотворную и сожалею лишь о том, что своими крайностями она сама себя ослабляет. Не останавливаясь на всех пунктах, заслуживающих осмысления, а то и одобрения, позволю себе привести некоторые из них.

Представление о том, что постепенное расширение государственной деятельности ведет к увеличению удельного веса административных решений и предписаний, с трудом поддающихся демократическому контролю со стороны представителей нации, — старо, но по-прежнему верно. Современное государство становится все более и более бюрократическим и все менее и менее демократическим, такой формулировкой, если угодно, можно выразить возрастающую роль функционеров и упадок законодателей. Нужно быть слепым оптимистом, чтобы не видеть в этом опасности, угрожающей правам личности, и не признавать необходимости гарантировать их или защищать. Глава книги, которую Ф. А. Хайек посвятил профсоюзам, наверняка заденет за живое большинство читателей по обе стороны Атлантики. Но не одни только виги задаются вопросом, соответствует ли идеалу свободного общества система, при которой профсоюз юридически или фактически обладает монополией на наем рабочей силы и волен отказывать работникам, не

дающих согласия на его поддержку? В Великобритании даже нашлись экономисты левого толка, которые поставили вопрос о реальных последствиях профсоюзного движения, касающихся полной занятости, неравенства заработной платы в разных отраслях или влияния ограничительной практики на экономический рост. Либерал, придерживающийся индивидуалистической философии, конечно, склонен забывать, что при создании коллективной организации трудящихся возникает чувство обретения власти, соответствующей той, которую гарантируют предпринимателям собственность или деньги. Но в США и даже в Великобритании вопросы о роли профсоюзов, о пределах их законной деятельности, о противоречии между личной свободой и некоторыми монополистическими привилегиями, которых они требуют, остаются открытыми. Чаще всего те, кто испытывают сомнения, не решаются высказывать их вслух, опасаясь выглядеть реакционерами; я вижу в этом еще одну заслугу либералов, которые не боятся непопулярности, а подспудно, может быть, даже желают этого.

Наблюдатели противоположной стороны тоже вынуждены задаваться подобными вопросами, констатируя, что довольно часто профсоюзы в США добиваются дополнительных преимуществ для относительно привилегированных групп, не оказывая столь же действенной и эффективной поддержки по-настоящему обездоленным людям. «Бедные», о которых мы говорили выше, свидетельствуют о бессилии одиночек в индустриальном обществе; они напоминают и о том, что сила организаций далеко не всегда соответствует нуждам их членов.

Мне хотелось бы отметить, не занимая категорической позиции, что Ф. А. Хайек осуждает принцип прогрессивного налогообложения, во всяком случае его крайности. Справедливо ли, что взимаемая с каждого сумма на общественные расходы не просто пропорциональна доходам налогоплательщика, а составляет тем большую долю, чем выше его доходы?

Лично я отвечаю на этот вопрос не так, как догматик от либерализма, но и не так, как догматик от демократии.

Выбор принципа пропорциональности или прогрессивности определяют общепринятые ценности. Западные общества, приняв, по крайней мере отчасти, уравнилельный идеал, принимают и принцип прогрессивности налогообложения. Но остаются два возражения и два вопроса.

Возражения вызывают, во-первых, самая высокая ставка налога (90%) и, во-вторых, эффективность метода в условиях системы, при которой прибыли от капитала и возможности ухода от уплаты налогов перекладывают бремя высоких ставок на тех, чьи доходы фиксированы.

Вопросы касаются стремления перераспределить национальный доход и самого факта неравенства. Ни социальное страхование, ни система налогообложения в конечном счете не являются достаточно эффективными инструментами перераспределения дохода, во всяком случае, если ставят целью существенно сократить неравенство. Во Франции социальное страхование способствует скорее перераспределению доходов внутри самого класса работников, чем между работниками и работодателями. Ставка налогообложения в 90% для высшей категории налогоплательщиков (в Великобритании) при неукоснительном соблюдении налогового законодательства была бы равносильна установлению верхнего предела для допустимых доходов. Это — своего рода денежная конфискация, которую, на мой взгляд, трудно оправдать — ведь налоги, получаемые от этой категории граждан, составляют ничтожно малую часть общих поступлений в государственный бюджет; самые изобретательные или занимающие наиболее выгодные посты богачи их «обходят»; установка столь высоких налоговых ставок основывается на малопримлемом для общества либерального типа представлении о том, что государство уполномочено своею властью распределять национальный доход. Однако на Западе оно не способно к этому, и такая возможность может быть получена только при полном поглощении общества государством.

Государство может и должно обеспечить всем гражданам с помощью социальных законов минимум материальных средств, необходимых для пристойной жизни такого

уровня, какой допускает коллективное богатство. Оно должно стараться сокращать неоправданно высокие прибыли, вводя запреты на некоторые формы собственности, (например, на участки земли под застройку в городах). Оно вправе взимать с представителей привилегированных слоев денежные взносы на общественные нужды сообразно уровню доходов. Оно может и должно облегчать положение отдельных групп, индивидов, регионов, обедневших в погоне за прогрессом. Но оно никогда не сможет победить неравенство, которое является следствием несоответствия в деловых успехах или в оказанных услугах, в удачах или неудачах. Довольно часто усилия по перераспределению доходов приводят к результатам, прямо противоположным ожидаемым, они не всегда благоприятствуют самым бедным и не всегда бьют по тем, чьи доходы вызывают возмущение.

Общественное мнение не всегда проявляется враждебно по отношению к неравенствам: никого не шокируют гонорары певцов или кинозвезд. Неравенство шокирует, когда богачом становятся незаслуженно. Но кто будет судить о заслугах? К тому же порядок, при котором каждому платят по его интеллектуальным заслугам, сколь бы соблазнительной ни казалась идея таковой установить, подменил бы случайность социального наследования случайностью наследования биологического. Что же касается порядка социального, при котором каждый имел бы право на лучшее в области медицины или образования, то таковой невозможен по определению, ибо лучшее — предназначено немногим. А то, что эти немногие определились бы в процессе конкурентной борьбы большинства наших современников, причем у всех ее участников были бы равные стартовые условия, — идеал. Вероятно, мы приблизимся к этому идеалу, но он так же нереализуем, как идеал общества, управляемого законами, а не людьми. Раскрытию способностей благоприятствует или препятствует семейная среда (да и почему должно быть иначе?). Чтобы равенство в исходном пункте было обеспечено, родителям надлежало бы создавать детям одинаковые условия жизни. Тогда возникали бы другие проблемы, так как социальный

вердикт был бы справедлив и отверженные не имели бы смягчающих обстоятельств. Однако предоставим эти заботы нашим потомкам и будем трудиться с целью увеличения социальной мобильности.

\* \* \*

Огромная прелесть капиталистического производства состоит в том, что оно не только постоянно воспроизводит наемных рабочих как наемных рабочих, но и *производит всегда соответствующее накоплению капитала относительное перенаселение наемных рабочих*. Этим закон спроса и предложения труда удерживается в надлежащей колее, колебаниям заработной платы ставятся пределы, желательные для капиталистической эксплуатации, и, наконец, обеспечивается столь необходимая социальная зависимость рабочего от капиталиста<sup>74</sup>.

Так выразился Маркс в последней главе («Теория колонизации») первого тома «Капитала». История явно протекала иначе. Рабочая сила не всегда оказывается в избытке; заработная плата не всегда колеблется в пределах «желательных для капиталистической эксплуатации»; ее реальная величина возрастает по мере роста производительности труда; в наиболее развитых странах благодаря профсоюзам простая подчиненность трудящегося при капитализме сменилась отношениями, часто имеющими договорной характер, а то и приближающимися к отношениям на равных. Изображенная Марксом общая картина капиталистического развития отчасти верна, отчасти ложна, отчасти преувеличена.

Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства, путем централизации капиталов. Один капиталист побивает многих капиталистов. Рука об руку с этой централизацией, или экспроприацией многих капиталистов немногими, развивается кооперативная форма процесса труда в постоянно растущих размерах, развивается сознательное техническое применение науки, планомерная эксплуатация земли, превращение средств труда в такие средства труда, которые допускают лишь коллективное

употребление, экономия всех средств производства путем применения их как средств производства комбинированного общественного труда, втягивание всех народов в сеть мирового рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического режима. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличивается по своей численности, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства. Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют<sup>75</sup>.

Верно то, что «применение науки в технике» прогрессирует, что все народы влетают в сеть «мирового рынка»; преувеличение — представлять концентрацию капитала под видом экспроприации большинства капиталистов в пользу ничтожного меньшинства, и, наконец, ложно то, что этот процесс влечет за собой «нищету, гнет, рабство, деградацию и эксплуатацию народных масс». Способ производства действительно является социальным: можно сказать, что он вскрывает капиталистическую оболочку, но это вскрытие происходит в законных рамках западных государственных систем, называемых советскими гражданами капиталистическими, — рамках достаточно гибких, чтобы приспособиться к необходимости «трансформации инструментов в орудия, мощные только при их совместном использовании».

Перейдем от катастрофических пророчеств Маркса к кошмарам Токвиля.

...Та форма угнетения, которая угрожает демократическим народам, ни в чем не будет напоминать то, что было раньше; мои современники не смогут найти ей аналогов в своей памяти. Я сам тщетно ищу

определение, которое бы точно выражало идею этого угнетения в том виде, как я ее себе сформулировал; старые слова «деспотизм» и «тирания» не подходят. Явление это новое, и поэтому его необходимо хотя бы определить, если мы не можем дать ему название.

Я хочу представить себе, в каких новых формах в нашем мире будет развиваться деспотизм. Я вижу неисчислимые толпы равных и похожих друг на друга людей, которые тратят свою жизнь в неустанных поисках маленьких и пошлых радостей, заполняющими их души. Каждый из них, взятый в отдельности, безразличен к судьбе всех прочих: его дети и наиболее близкие из друзей и составляют для него весь род людской. Что же касается других сограждан, то он находится рядом с ними, но не видит их; он задевает их, но не ощущает; он существует лишь сам по себе и только для себя. И если у него еще сохраняется семья, то уже можно по крайней мере сказать, что отечества у него нет.

Над всеми этими толпами возвышается гигантская охранительная власть, обеспечивающая всех удовольствиями и следящая за судьбой каждого в толпе. Власть эта абсолютна, дотошна, справедлива, предусмотрительна и ласкова. Ее можно было бы сравнить с родительским влиянием, если бы ее задачей, подобно родительской, была подготовка человека к взрослой жизни. Между тем власть эта, напротив, стремится к тому, чтобы сохранить людей в их младенческом состоянии; она желала бы, чтобы граждане получали удовольствия и чтобы не думали ни о чем другом. Она охотно работает для общего блага, но при этом желает быть единственным уполномоченным и арбитром; она заботится о безопасности граждан, предусматривает и обеспечивает их потребности, облегчает им получение удовольствий, берет на себя руководство их основными делами, управляет их промышленностью, регулирует права наследования и занимается дележом их наследства. Отчего бы ей совсем не лишить их беспокойной необходимости мыслить и жить на этом свете?»<sup>76</sup>

Догматически настроенные виги школы Ф.А. Хайека охотно цитируют этот знаменитый отрывок, в котором

смешаны светлые предчувствия, мрачные опасения и характерные ошибки. Верно, что современный человек стремится жить так называемой нуклеарной семьей и узким кругом друзей или знакомых. Исчезает соседская общность. Забота о благополучии приобретает всеобщий характер, и это закономерно для общества, которое по сути является светским и демократическим, т. е. для общества, которое сделало религию личным делом и разрушило наследственные статусы и свойственные каждому из них нормы поведения. Безразличие, с которым «одинаковые и равные» индивиды относятся ко всему, что происходит вне их среды, является одним из отношений, наблюдаемых в период спокойствия. Вспоминая исторические реалии того времени, в которое писались эти строки, задаешься вопросом, не являются ли периоды активизации общественных страстей более частыми и в любом случае более опасными, чем фазы эгоистического сосредоточения индивида на самом себе. Что же касается опекающего деспотизма общества всеобщего благоденствия, то он достаточно ограничен, так что тревожное ожидание ситуации, при которой Государство обеспечит индивиду абсолютную защиту и полную безопасность, кажется и преждевременным, и малоприятным. В обществе наемного труда, где люди могут приобрести какие-то блага, только потратив сегодня свой завтрашний доход, где семейная солидарность — все более редкое явление, где личная помощь ограничена по своим ресурсам и сталкивается с моральным сопротивлением, организации социальной защиты отвечают определенным нуждам, что, впрочем, не отрицает и сам Хайек. Вопрос в том, на какие категории граждан распространяема такого рода помощь. Попытки добиться с помощью государственных методов перераспределения доходов на три четверти тщетны. В результате мягкие государственные режимы не добились опекающего деспотизма; в тех случаях, когда деспотизм был установлен, опекающим он был лишь во вторую очередь, а в первую — насильственным и идеократическим.



## ФОРМАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ СВОБОДЫ

Ни катастрофа, о которой пророчествовал Маркс, ни опекающий деспотизм Токвиля не воплотились в жизнь. Нет больше прометеевской одержимости перестроить социальный порядок на новых основаниях и исходя из принципов уравнительной справедливости. Пропасть между грезами дореволюционных марксистов и реальностью советского строя мне кажется более глубокой, нежели разрыв между американской мечтой и реальностью современных США. Конечно, экономика конгломератов далека от теории свободного предпринимательства, неравенство доходов разрушает представление об обществе равных: государство усиливается вопреки проклятиям в адрес государственного Левиафана, власть концентрируется, несмотря на все процедуры сдержек и противовесов, заложенные в Конституцию *отцами-основателями (founding fathers)*. Несмотря на все это, американская система ценностей и верований, описывавшаяся Токвилем, просматривается в наши дни еще и потому, что индустриальное общество, о котором не ведали отцы американской Конституции, смогло, выражаясь языком Маркса, найти свое место в «капиталистической оболочке».

Личные свободы и свобода политическая, свобода от произвола и свобода участвовать в общественных делах, *freedom from despotism and to choose the governing people*, наперекор всем потрясениям, происшедшим за полтора века, остаются, в сущности, незыблемыми, разве что обновленными в конкретных формах выражения.

Пережиток другой эпохи? Выстоит ли завтра политическая свобода, которая выжила, интегрировав в либеральную конституцию большую часть социальных прав или реальных свобод, прокламируемых требованиями социалистов, перед технической сложностью проблем, пассивностью потребителя благ, массовой культурой? Предрекает ли конец гражданина тенденция ослабления идеологий, которая обусловила сомнительный успех соединению либерализма и демократии?

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

В моей третьей лекции я хотел бы продолжить обсуждение проблемы, затронутой в прошлый раз. Свобода, которую Маркс называл формальной, т. е. свобода гражданина в политической империи, выбирающего своих представителей и прямо или косвенно являющегося носителем высшей власти, сохранилась на Западе, но была уничтожена в государственных системах советского типа. Сохранилась ли во всем своем объеме эта собственно политическая свобода? Что значит политическая свобода для рабочего, включенного в организацию, или для потребителя, окруженного хитроумными средствами неявного психологического воздействия, для телезрителя или радиослушателя? Современный идеал — это идеал свободы для всех людей в течение всего их существования. По иронии истории, не стала ли собственно политическая свобода мнимым подобием таковой, ибо человек индустриального общества не знает больше, что значит свобода, которая ныне порабощена либо рациональностью коллективной эффективности, либо властью коммерции, которая использует в своих интересах всеобщую тягу к развлечениям и потреблению?

\* \* \*

Прежде всего напомним, что мы не знаем иной формы политической свободы помимо той, которая соответствует буржуазной традиции и выражается в выборах, представительных органах власти, в конкурентной борьбе партий, конституционных формах. Возможно, что люди в обществах советского типа и не ощущают отсутствия такой свободы, — то ли в силу отсутствия соответствующего опыта, то ли в силу наличия других способов удовлетворить потребность участия в общественной

жизни, желание, которое при определенном уровне образования, вероятно, является общим для всех (по крайней мере, образованная часть населения его точно испытывает). Сделав эту оговорку, я назову политической свободой ту из формальных свобод, которая гарантирует гражданину участие в общественных делах и позволяет ощутить влияние, оказываемое им на судьбу общества через своих избранных, и, возможно, выражение своих мнений.

Либерализм и демократия, подчеркивали мы в предыдущей лекции вслед за Ф. А. Хайеком, не сливаются друг с другом. Либерализм — это концепция, относящаяся к ограничению власти и к ее целям, демократия — концепция, относящаяся к способу назначения ее исполнителей. Логика либерализма совпадает с демократической логикой в том, что касается принципа равенства перед законом. Но, чтобы быть подлинной, демократия должна требовать уважения личных свобод, свободы слова и дискуссии, свободы объединений и ассоциаций. Выборы ничего не значат, если они не несут возможности выбирать. Единый список заменяет выбор возгласами одобрения, это почести, оказываемые пороком добродетели, иными словами, почести, оказываемые демократической идее теми, кто монополизировал ее во имя задачи, которую может оправдать только будущее.

Является ли сегодня политическая свобода, определяемая подобным образом, торжествующей, или, напротив, она оказывается под угрозой? В каком-то смысле первое в этой альтернативе кажется более правдоподобным, чем второе, по крайней мере для западного мира и развитых стран. Однако во Франции второе определение принимается во внимание чаще, чем первое. Кризис демократии, упадок собственно политической свободы — очевидные факты, которые склонны игнорировать только консерваторы, удовлетворенные вчерашними завоеваниями и не видящие логики изменения идей и событий. Попытаемся вначале разобраться в этом мнимом парадоксе и потом установить причину резкого отличия Франции от других западных стран.

Демократия признается стабильной, когда она рассматривается большинством населения как легитимная и когда она достаточно эффективна. Население, в свою очередь, требует, чтобы в результате межпартийной борьбы образовывалось относительно устойчивое большинство, некая общая воля, воплощенная группой людей. Наконец, эта организованная борьба соперников предполагает некое минимальное их согласие относительно правил игры или, в случае несоблюдения меньшинством этих правил, соответствующую реакцию большинства, располагающего вооруженной силой, дабы навязать этому непокорному или революционному меньшинству дисциплину, которой оно не подчиняется. Если армия не повинует гражданским властям или если простые граждане потеряли доверие к парламентарным процедурам, демократия неизбежно становится нестабильной и, вероятно, обречена на гибель.

Все эти условия, необходимые для демократической устойчивости, сегодня более, чем вчера, имеют место в тех странах, где в период между двумя войнами не было серьезных потрясений государственной системы (США, Великобритания, Commonwealth blanc, небольшие европейские страны). Подобные условия сегодня с гораздо большей степенью вероятности, нежели раньше, могут реализоваться в ФРГ и в Японии. В Латинской Америке эта тенденция просматривается с трудом (слишком велики отличия одной страны от другой), но нельзя сказать, что социальное напряжение вследствие быстрого роста населения и развития экономики существенно сокращает шансы установления здесь демократического режима. Политическая нестабильность почти повсюду принимает латиноамериканские черты: множество партий, трудность выделения сплоченного большинства. Не отказываются включиться в игру и военные. Но эти данные не новы, и ни одна из стран Латинской Америки не поднялась еще до того уровня производства и потребления на душу населения, который позволил бы ей называться индустриальным обществом.

Французский пессимизм по поводу политической свободы имеет прежде всего национальные корни. С 1945 по 1958 г. французской демократии были свойственны все недостатки, обострившиеся в период упадка Третьей республики. После 1958 г. демократические формы и либеральное содержание сохранялись, но неограниченная власть, которую осуществлял генерал де Голль при так называемых исключительных prerogatives по типу *one man rule* (единоличного правления), созданному вопреки Конституции, определялась личностью вождя государства; французы понимали, что они наблюдают переход от анархопарламентаризма к дискредитации парламента. Исходя из собственного исторического опыта, они, кажется, обнаружили большую восприимчивость к социальным переменам, которые таятся за внешней стабильностью, несомненной, благодаря наличию представительных учреждений, для заурядного наблюдателя.

Первый уровень критики, самой поверхностной, которую высказывают французские наблюдатели, касается оптимистического отношения к корреляции «развитая экономика — стабильная демократия». В тех странах, где привилегированные классы (пережиток старого порядка) и рабочий класс (продукт промышленной революции) соединяются в парламенте и в партиях, процветание и распределение благ закрепляют легитимность государственного строя, не терзаемого ни ностальгией по «революционному прошлому», ни нетерпеливым устремлением к «светлому будущему». Зато во всех тех странах, где слияние имущих классов и представителей пролетариата было либо запоздалым, либо непрочным, партийная система не благоприятствовала стабильности, а отсутствие стабильности расшатывало фундамент легитимности. Франция и Италия еще не вырвались из этого порочного круга. Пожалуй, ФРГ вышла из него благодаря неприятию революционной идеи, эффективность которой опровергли советский опыт и западногерманское «экономическое чудо».

Но это возражение не является принципиальным. Демократические институты Франции более стабильны сегодня, чем вчера, в XX в. более, чем в предыдущем и

даже, несмотря на видимость, после Второй мировой войны более, чем после Первой. Четвертая республика стала жертвой обстоятельств и скверной Конституции. Она должна была ликвидировать разруху одновременно приспособливаться к беспрецедентной международной обстановке, идти на примирение с вчерашним врагом, покориться «гибели Империи»; и все эти задачи она вынуждена была решать вопреки оппозиционным требованиям со стороны влиятельной коммунистической партии и со стороны генерала де Голля и голлистов, резко сопротивлявшихся европейскому объединению и деколонизации, в то время как первые брали на себя ответственность за колониальную политику. Более того, хотя и верно, что деятельность Пятой республики сильно отличается от деятельности англо-саксонских и других европейских демократий, но внешние наблюдатели склонны преувеличивать эти отличия: элементы либерально-демократического синтеза в ней налицо. Управление экономикой остается в Пятой республике почти таким же, каким оно было в Четвертой. Группы давления не менее активны и не менее агрессивны. Крестьяне возводят заграждения на дорогах, а шахтеры организуют продолжительную забастовку в период суровой зимы, когда *bargaining power* (возможность поторговаться) сильно возрастает. Ноябрь 1962 г. поставил избирателей перед выбором: если они выдвигают в парламент враждебное президенту республики большинство, то он должен либо самоустраниться, либо объединиться со своими противниками. ОПР<sup>77</sup>, имеющее большинство в парламенте, лишено его в стране, но демократия не требует пропорционального представительства, она не исключает выборов по мажоритарной системе, которые заботу о точном соответствии мнений избирателей и представительства ставят в зависимость от необходимости выводить правительство непосредственно из результатов голосования. Избирательная кампания дает гражданам некоторый простор для выбора, определенную устойчивость большинству, не делая при этом из парламента микрокосм нации<sup>78</sup>.

Пятая республика, если сравнивать ее с западными демократиями, имеет две своеобразные черты: почти исключительная президентская власть в области внешней и военной политики, ослабление роли и престижа парламентариев — к обоюдной выгоде администраторов, функционеров и министров, с одной стороны, а с другой — групп давления и профсоюзов. Исходя из этих особенностей Пятой республики и следует объяснять всевозможные французские спекуляции на тему кризиса политической демократии или постепенного исчезновения политической свободы. Ведь французский пример наводит на пессимистические мысли: *общая тенденция к персонализации власти*, наглядным выражением которой является такой харизматический лидер, как генерал де Голль; *общая тенденция к усилению государственной бюрократии и к расширению административной деятельности*; *общая тенденция парламентов к символическому обладанию суверенитетом*, возможность принятия решений или отклонения предложений, на деле принадлежащая кабинету министров, еще более функционерам, с одной стороны, и профсоюзам — с другой; *общая тенденция считать решающими социально-экономические проблемы и, как следствие ее, отсутствие интереса к идейным конфликтам*, или даже к распределению власти внутри государства; *общая тенденция к манипуляции общественным мнением через средства массовой коммуникации и прямой контакт президента с избирателями* — что является еще одной причиной упадка представительных органов, лишенных иного источника престижа.

Можно не сомневаться, что эти аргументы в той или иной степени вызваны французским опытом. Но из этого еще не следует, что такая критика провинциальна и применима только к одной стране. Временами острый кризис неожиданно позволяет уловить со всей очевидностью перемены, происходящие незаметно, скрывающиеся от глаз за нерушимостью священных форм и верностью старым традициям. Вряд ли достаточно

проводить заседания палаты общин по сохраняющемуся 50 лет распорядку, чтобы парламент продолжал как прежде служить образцом всему миру.

\* \* \*

Прежде чем приступить к обсуждению этих аргументов пессимистов и подробнее проанализировать обозначенные нами различные *общие тенденции*, не лишним будет напомнить о некоторых фактах, всем, впрочем, известных, которые предостерегают от поспешных обобщений.

Внутри того, что называют англо-саксонской традицией, всегда существовали две модели демократии, различающиеся по ряду пунктов. Франция, возможно, являет собой третью модель. Американскую демократию принято называть *президентской*, а британскую — *парламентской*. Здесь неуместно ставить вопрос о происхождении обеих практик, как и о соответствии данных характеристик реальности. Но в существовании различий между американским Конгрессом и британской Палатой общин никто не сомневается. Так, мнение законодателей о той или иной ситуации будет зависеть от того, на какую модель парламентаризма они ссылаются.

Западные типы государственного строя, которые мы обычно называем демократическими (а я, рискуя прослыть педантом, именую конституционно-плюралистическими), включают, пользуясь социологическими терминами, два сущностных аспекта: *легитимное существование многочисленных групп*, соперничество которых определяет выбор правителей; *уважение законодательных норм* (конституциональных — на высшем уровне), *согласно которым избираются (или назначаются) и осуществляют свои функции чиновники исполнительных или законодательных ветвей власти*. Авторитарный режим может поддерживать диалог между социальными группами и даже законность исполнения власти, совсем утратив конкуренцию между индивидами и партиями, претендующими на



исполнительные должности, — или по крайней мере лишив эту конкуренцию организованного и регулярно характера.

Схематически можно представить, что при государственных режимах, вполне заслуживающих характеристики конституционно-плюралистических, существует три типа диалогов — теоретически не бурных, но полных конфликтов и страстей: *диалог между группами интереса, диалог между партиями, диалог между функционерами (экспертами) или министрами и парламентариями*. Два последних самостоятельно фигурируют в классических теориях конституций; первый же представляет собой их, так сказать, базис, не смешиваясь тем не менее с ними. Впрочем, он принимает различные формы в зависимости от происходящего между нанимателями и служащими на уровне предприятия, отрасли, всей экономики или непосредственно между ее секторами — в любом случае каждая группа старается повлиять на решения правительства.

Соперничество за власть между партиями или между отдельными людьми, кандидатами на исполнительные должности, имеет разные модальности в зависимости от характера партий, их уровня дисциплины, авторитета главы партии или правительства. При всех типах государственного правления соперничающие индивиды стремятся либо получить избирательные голоса простых граждан или членов партии, которые выбирают своего вождя (как, например, лейбористская партия в Британии), либо добиться расположения «принца», т. е. — на всех уровнях — того, кто выбирает своих сотрудников или распределяет должности. В США политический деятель, не сумевший добиться желаемого «выдвижения», часто соглашается на обмен избирательных голосов, которыми он располагает на съезде партии, на покровительство того, кто одержал над ним верх. Переход от одной стратегии к другой символизируется примирением Кеннеди и Джонсона, состоявшимся в 1960 г.: проигравший в конкурентной борьбе за избирательские голоса, последний сразу стал фаворитом «принца»

(кандидатом в вице-президенты), принеся дополнительные очки победителю внутри партии и получив взамен второе место, а вместе с ним — реальный шанс выйти в будущем на первое.

Если мы сравним британскую демократию с демократией американской, то нас поразят два различия: одно касается конкуренции за посты, другое — диалога между избранниками, министрами, функционерами.

Британские партии являются дисциплинированными, а американские — нет, и соперничество за руководство партией или за «номинацию» (в американском смысле) происходит в них по-разному. Лидер английской партии должен выдвигаться постепенно, чаще всего поднимаясь по ступеням карьерной лестницы как внутри совета министров, так и внутри самой партии. Избранный единожды (лейбористской партией) или назначенный узким кругом «мудрецов» или «старейшин», глава английской партии практически застрахован, за редкими исключениями, от потери своей позиции. Перевыборы лейбористского лидера (годовые перевыборы) хотя и имеют политическое значение (подсчет голосов учитывается), но являются во многом ритуальными. Короче говоря, почетная карьера, согласно неписаным правилам английской партийной жизни, редко допускает молниеносные восхождения или неожиданные падения. Она почти гарантирует длительность пребывания на высшей должности, обычно поздно вознаграждая за большие амбиции или за долготерпение.

Совсем иначе дела обстоят в США. Будущий глава исполнительной власти, прежде чем быть избранным простыми гражданами, тоже выдвигается одной из партий. Здесь, как и в Великобритании, речь идет фактически о двухступенчатых выборах. Но «плебисцитарное начало» или «персонализация власти» сильнее выражены в США. Конечно, и на британских окружных выборах от личности кандидата в премьеры зависит распределение голосов избирателей, но влияние личности при голосовании «президентских выборщиков» (которые фактически получают решающий императивный мандат) неизбежно

сильнее. Усиление плебисцитарного начала в сочетании с недисциплинированностью партий предоставляет широкие возможности лицам, не делавшим политической карьеры, добиться исключительного успеха. Стратегия по достижению сложного «выдвижения» варьируется в зависимости от обстоятельств: порой она рассчитана на партийных профессионалов, порой — на *соттон тал* («человека с улицы»); то в качестве главного аргумента выступают шансы на победу, то — симпатия к кандидату со стороны членов партийного съезда. С политической практикой английских партий не сравнимы выборы ни Эйзенхауэра, ни Кеннеди. Французские наблюдатели, пораженные этой плебисцитарной составляющей, свойственной американской и британской политическим системам, часто не видят различий между ними.

Франция колебалась между выражениями двух крайностей: либо соперничество политиков за высший пост разворачивается внутри Парламента (Национальная ассамблея, иногда Палата депутатов и Сенат), и этот двухступенчатый выбор, но выбор парламентариями, рискует привести к своего рода анонимности главы исполнительной власти; либо происходит парламентская игра, постоянно грозящая остановиться, прерваться, натолкнувшись на неразрешимую проблему, и тогда депутаты взывают к спасителю, выделившемуся благодаря своей популярности: парламентскому спасителю типа Пуанкаре либо Клемансо или внепарламентскому — типа генерала де Голля. Другими словами, плебисцитарное или личностное начало, не усвоенное политической системой естественным образом, складывается в результате колебаний маятника при выборе главы исполнительной власти — от выходца из парламентариев или примирителя партий к выдвиженцу по обстоятельствам из внепарламентской среды. Первая и Вторая республики скатились от режима Ассамблеи к военной диктатуре или к имперскому деспотизму. То же самое произошло и при Третьей республике, где имело место чередование квазианонимности и окончательной персонализации.

В настоящее время мы живем в условиях персонализированной власти. Французские реформаторы склонны видеть в этом не очередное подтверждение традиционного цикла, а завершение эпохи французского провинциализма: отныне политика нашей страны не будет больше хромать; парламент потеряет возможность распускать кабинеты министров — возможность, которой не обладает ни один крупный западный парламент, и благодаря выборам президента Республики всеобщим голосованием Франция вступит наконец в современную эру «персонализированной власти». Две интерпретации не противоречат друг другу. Четвертая республика представляла собой крайнюю форму парламентской игры, когда избиратели не знали, действительно ли они поддерживают своими голосами ту или иную партию, а глава исполнительной власти никак не был уверен в прочности своего положения, будучи лишен той власти, которую дает поддержка общественного мнения и крупной организованной партии. Пятая республика являет собой крайнюю форму персонализированной власти: один человек поручает избрать депутатов, которые ссылаются на него, не нуждающегося в их посредничестве, пока он еще не представился избирателям.

Вместе с тем пока не доказано, что Конституция Пятой республики положила конец описанным колебаниям. При отсутствии организованных партий (вернее, достаточного их числа) нет никакой гарантии минимального согласия между президентом, избранным всей нацией, и политическим персоналом окружных избранных. Нынешняя Конституция допускает разные варианты поведения в зависимости от того, сделал ли президент карьеру в политике или вне ее, был ли он действительно избран одной партией или выдвинут несколькими благодаря своей популярности. Более того, правило, которое допускает во втором туре участие только двух кандидатов, победивших в первом, выгодно консервативным партиям: если коммунисты представляют одного кандидата в первом туре, то кандидат от умеренно левых рискует не пройти во второй. Но даже если он

пройдет, то будет объявлен избранником компартии, при том что она призовет своих сторонников голосовать за него; без голосов же коммунистов у него нет никаких шансов победить.

Контраст между американским и британским типами политической карьеры менее примечателен, чем между двумя типами осуществления власти. Приостановление диалога между Палатой общин и Кабинетом министров дает веский аргумент французской пессимистической школе. Как только Кабинет, назначенный в результате всеобщих выборов, сформируется и окрепнет благодаря парламентскому большинству, он по сути берет власть в свои руки. Именно он осуществляет законотворческую деятельность и проталкивает те или иные законы, ссылаясь в том числе на необходимость поддержания партийной дисциплины. Теперь член Палаты общин<sup>79</sup>, руководствуясь политической этикой, должен время от времени голосовать вопреки своим предпочтениям и совести. В 1961—1962 гг. правительство Ее Величества после долгих колебаний решило присоединиться к Общему рынку. Обе партии, как и вся страна, раскололись по этому вопросу. *Ни одна из них не предполагала всерьез выдвигать этот вопрос на референдум.* Никто даже не представлял, что настроенные враждебно к вступлению в Общий рынок консерваторы проголосуют «против» договора, заключенного правительством Мак-Миллана, а лейбористы, приветствовавшие присоединение, проголосуют «за», при том что консерватор Гарольд Мак-Миллан рекомендовал ратифицировать договор, а лейбористы Хью Гейтскилл или Гарольд Уилсон возражали. Условности соблюдаются; Палата общин остается высшим органом власти, а премьер подчиняется ей, но после назначения Мак-Миллана партийными «мудрецами» в конце 1956 г. означают ли эти выражения уважения нечто большее, чем ритуал целования руки королеве, которое фигурирует в официальных коммюнике? Больше не спорят о равновесии властей, теорию которого, возможно, далекую от реальности уже в XVIII в., разрабатывал Монтескье.

Зато в США диалог между различными органами власти остается таким же живым — к счастью или к сожалению, — как и раньше. Он касается вопросов Федеральной Конституции, прав штатов, приоритета законности в американской практике, роли Верховного Суда. Исполнение власти в соответствии с законами сохраняет все свое значение в стране, где губернатор штата и руководители профсоюзов подчиняются решениям судов, где национальная гвардия подчиняется губернатору штата, пока декретом не ставится под командование президента, исполняя его приказы. Но даже без учета господства (в некотором плане) закона или Верховного Суда по отношению к Конгрессу, как и к президенту, понятно, что по ту сторону Атлантики избранник — сенатор или член Палаты представителей — все равно не является партийным функционером, голосующим под давлением *whips*<sup>80</sup> за законы, предложенные президентом, или одобряющим его действия.

Конечно, в течение этого столетия власть президента значительно усилилась, и он является верховным главнокомандующим вооруженных сил, а также ответственным за проведение внешней политики во время войны. Но даже технические решения (выбор модели самолета, контракт, заключенный с той, а не с иной фирмой) подвергаются долгим и тщательным проверкам со стороны парламентских — и в особенности сенатских — комиссий. С другой стороны, в области экономического управления президент должен *убедить* Конгресс в необходимости принять то или иное решение, поскольку он не может *принудить* его. *США, вероятно, являются последней страной в мире, где исполнительная власть с трудом добывается от законодателей не только подъема, но и снижения налогов.*

Наблюдателей, больше сожалеющих, чем восторгающихся постоянным диалогом президента с Конгрессом, хватает, как и власти, в руках последнего, дабы противостоять желаниям первого. Но в настоящее время — ведь речь идет о том, что есть, а не о том, что желательно, — можно увидеть, что *независимость* Конгресса

противопоставляется *подчиненности* Палаты общин. Конечно, не независимость, а подчиненность брали за образец авторы Конституции Пятой республики. Хотя у французских партий, включая ОНР, нет фигуры, равнозначной *whips*, парламентское большинство, которым располагает правительство, сформированное генералом де Голлем, последовательно и дисциплинировано. Оно обсуждает законопроекты и поправки к существующим законам, оно не препятствует прохождению проектов, которым правительство придает особую важность, оно не подвергает сомнению внешнюю или военную политику — исключительную прерогативу президента.

Остается, очевидно, определить, какая ответственность в действующей практике возлагается соответственно лично на президента Республики, на Конституцию, на большинство, сложившееся в Парламенте после выборов 1962 г., на глубинные тенденции развития индустриального общества. Конституция — в отредактированном виде — стремится добавить к возможностям, которыми обладает глава исполнительной власти по закону Великобритании, возможности, которые обеспечивают президенту американской республики выборы или квазивыборы, проводимые прямым всеобщим голосованием. Как всенародный избранник и глава парламентского большинства, президент Республики может обратиться и к избирателям, и к их представителям. Не парламентарии оказывают ему доверие, а он им. В настоящее время почти не существует процедур сбалансирования власти чисто конституционного типа, и отношения между ОНР и генералом де Голлем не похожи на отношения членов партии консерваторов с их вождем. Партия консерваторов уверена в сроках пребывания Мак-Миллана на своем посту, а также в том, что он подаст в отставку почти в тот же день, который будет избран по мнению всех партийных активистов<sup>81</sup>. Вожди приходят и уходят, партия продолжает существовать. Генерал де Голль тоже уйдет, но будет ли после этого существовать ОНР?

Французская модель — это модель избираемой монархии с сохранением парламентской теории (право Ассамблеи низложить правительство), но с такой концентрацией власти в руках временного монарха, что Ассамблея сможет выступить против него, не создавая кризиса политической системы, при условии, что он будет слабой личностью (что, впрочем, не исключено). Несмотря на эти особенности, французская модель государственного строя относится к конституционно-плюралистическому типу; диалог групп интересов остается таким же конфликтным, как и раньше; предвыборная конкуренция (на должность президента или в Ассамблею) сохраняется. Пресса свободна ни более и ни менее, чем при Четвертой республике. Радио и телевидение определенно более чувствительны к голосу правительства, чем общественного мнения. Но почти то же самое было и на предыдущем этапе общественного развития, при Четвертой республике.

От того, что диалог избранных с правительством протекает на равных, как в США, или что избиратели выбирают законодателей одновременно с исполнителями, и одни, по существу, навязывают свою волю другим, интеллектуальные или личные свободы не кажутся всерьез действенными. Они уважаются в Великобритании в силу традиции, определенный либерализм стал составной частью общественного сознания. Если они не всегда уважаются во Франции, то причина этого кроется не столько в тексте Конституции, сколько в ненадежности французских либеральных ценностей, в тенденции путать всемогущество большинства (именуемого народом) с сущностью демократии, в ожесточенности споров последних лет и в применении оппозицией орудия ниспровержения власти.

Из трех рассмотренных нами моделей политических систем самой типичной, по крайней мере в конституциональном плане, является британская модель. Континентальные Парламенты постепенно становятся Палатами по регистрации законов, даже при нестабильности правительства, как в Италии. Принятие решений



передается либо штабам партий, либо правительству, обеспеченному поддержкой однородного большинства или коалиции. Но окрепшие парламентские представители обладают не более, чем символической независимостью, поскольку ни назначение тех, кто будет осуществлять исполнительные функции, ни меры, принимаемые ими, не зависят от заседателей как таковых.

Таким образом, поддержание диалога внутри государства между *представляющими* и *правлящими*, между Конгрессом и президентом (опирающимся на администрацию) образует американскую особенность. Такое явление иллюстрирует некоторую неопределенность, сохраняющуюся в индустриальном обществе относительно видов организации публичной власти. Оно подтверждает также силу традиции: Конституция считалась «священной», и воспитание, получаемое молодыми американцами усиливает или обновляет эту сакрализацию. Самые спорные, с точки зрения иностранных наблюдателей, практики (правило старшинства, применяемое при выборе председателей комиссий, способность задержать прохождение законопроекта, которой обладает комиссия типа *Ways and means*<sup>82</sup> в Палате представителей) в какой-то степени окружены той же аурой, что и сама Конституция и ее знаменитые основатели. Наконец, по-прежнему жива одна из первоначальных концепций свободы — *по ограничению государственной власти, защите прав, т. е. возможностей и иногда привилегий индивидов, групп, меньшинств*.

Свобода по-американски означает социальное равенство, чтобы дать шанс всем и каждому, и одновременно уважение автономии штатов, которым угрожает федеральное государство, а также людей, которым угрожает вездесущая администрация. Экономическое равенство никогда не было целью. Американские левые проводили кампанию против крайностей экономического неравенства и могущества трестов, но они никогда не верили, в отличие от европейских социалистов, в миссию централизованной бюрократии по осуществлению прометеевских замыслов. Даже левые, или по крайней

мере большая их часть, полагаются на проявление индивидуальной активности для победы над природой и на результаты справедливой конкуренции (равенство шансов, мобильность) для относительного соответствия социального порядка нашим представлениям о справедливости.

Диалог Конгресса с исполнительной властью, имеющий давнюю традицию и уважаемый последующими поколениями, имеет *достоинства* по сравнению с западным идеалом политической свободы и *недостатки* по сравнению с западным идеалом *эффективности* или *равенства*. США — единственная западная страна, которая, всерьез восприняв необходимость принадлежности законодателям функции контроля, предоставила им средства ее осуществления. У сенаторов и членов Палаты представителей имеются в распоряжении (на средства государства) технические советники, которые помогают им на равных вести дискуссии с функционерами или министрами, окруженными лучшими экспертами. В этом смысле, американский Конгресс повседневно демонстрирует возможность *сохранения политической свободы даже в высокотехническом обществе при условии определения ее как влияния, осуществляемого просвещенным общественным мнением, и парламентского контроля за правительством и администрацией.*

Сам Конгресс, напротив, остается, как считают многие, консервативной силой, вызывающей раздражение реформаторов. Он затрудняет осуществление конъюнктурной политики, к тому же президенту необходимо согласие законодателей на увеличение государственного долга и на внесение изменений в налоговую систему. Он препятствует расширению социального законодательства на ряд областей (так, врачи представляют мощную группу давления), он мешает федеральному правительству оказывать финансовую поддержку школам (зависимым от штатов), в которой они нуждаются. Вот как об этом пишет Макс Беллофф<sup>83</sup>:

Если нельзя принять никаких национальных мер в системе медицинской профилактики без одобрения ме-

диков, хорошо осознающих свои интересы, нельзя оказать никакой федеральной помощи в системе образования вопреки условиям сегрегационистов и антисегрегационистов, или же сторонников конфессионального образования и сторонников полного отделения церкви от государства, если невозможно поставить на место министерство строительства из-за прав собственников и если сверх того при каждом обстоятельстве естественный инстинкт тех, чьи интересы прямо не затронуты, заключается в поддержании статус-кво, то становится понятно, что дорога реформатора, даже такого скромного, как президент Кеннеди, оказывается очень трудной<sup>84</sup>.

Разумеется, нельзя говорить, что консервативная сила Конгресса указывает на несостоятельность Конституции. Она была направлена на ограничение власти федерального государства, на гарантирование долгого существования Федерации, но вместе с тем на защиту прав (расцениваемых как свободы) штатов. Она была инспирирована страхом тиранического большинства, равно как и идеалом общества равных. В действительности на правительственном уровне никогда не было тирании большинства; политический позволил новым меньшинствам, представленным разными волнами иммиграции, участвовать в общественных мероприятиях, а старым меньшинствам, сильным своими привилегиями, воспринимаемыми в качестве прав, — долго выдерживать «ветер перемен» (*wind of change*). Может быть, существующий конфликт сегрегации есть символ внутренних противоречий американской свободы (и, возможно, любой свободы): американское *кредо* требует социального равенства, независимо от расы и религии, и расовая дискриминация противоречит этому *кредо*. Но законодательные меры, нацеленные на запрет сегрегации, сталкиваются с сопротивлением законодателей, ссылающихся на права штатов. Даже искренние сторонники расового равенства задаются вопросом, сколь далеко должно простираться вмешательство федерального государства, если оно использует закон, запрещающий

индивидам — владельцам гостиниц, ресторанов, домо-владельцам — прибегать к сегрегации. Закон освобождает жертвы расовой дискриминации, но лишает многих людей прав, которые относятся к сфере свободных решений каждого.

Более того. Должны ли неравенства, являющиеся результатом меньшего развития различных национальных или расовых групп, приниматься как неизбежные или исправляться законодательной деятельностью? Не следует ли вновь вспомнить о формулировке Руссо: «Именно так, потому что сила вещей всегда стремится уничтожить равенство, которое сила законодательства должна стремиться всегда поддержать». Если процент безработных выше среди чернокожих, чем среди белокожих, то причина этого заключается не только в том, что предприниматели предпочитают нанимать последних. Когда этот вид дискриминации исчезнет, процент чернокожих безработных сохранится более высоким, чем белокожих, потому что среди первых высоко число неквалифицированных, которым в современном обществе труднее найти работу. Если же представить это в отношениях между группами, то за равной на первый взгляд конкуренцией скрывается существенное неравенство. Алжирцы не получили бы своей законной доли высших государственных постов, не стань Алжир составной частью Франции. Чернокожие считают сегодня, что претерпевают больше трудностей, чем остальные безработные, и что, будучи изначально в ситуации, неблагоприятной в этом плане, они теперь имеют право на благосклонное обращение. Нужно ли вводить закон (на практике неприменимый), по которому при равной квалификации чернокожего наймут скорее, чем белокожего<sup>85</sup>?

Завершим наш краткий анализ контрастов европейской и американской демократии (каковы бы ни были отличия демократий стабильного типа, имей они партию большинства или устойчивую коалицию от демократий, менее стабильных, обладающих многочисленными партиями и шаткими коалициями, и у тех и у других есть общие черты, которыми они отличаются от американской модели).

В США правящее большинство всегда представляет собой коалицию меньшинств; каждая партия является коалицией — страна слишком обширна, слишком разнообразна, чтобы электоральная конкуренция смогла породить на федеральном уровне однородное большинство, способное угнетать меньшинство. В американской практике есть две опасности, на вид противоположные, но в условиях США взаимодополняющие: на уровне штатов белое большинство смогло сохранить легальную тиранию (или, если угодно, отказывать черному меньшинству в реализации своих прав); на федеральном уровне именно сопротивление меньшинств тормозит принятие мер, необходимых для честного претворения в жизнь американского идеала.

Токвиль унаследовал от некоторых из отцов — основателей Конституции представление о том, что большинство при демократии рискует стать тираническим. Эффективная работа американской Конституции не подтвердила ни опасений Мэдисона, ни надежд Джефферсона, но и не опровергла полностью их идеалы. Индустриальное общество сильно отдалилось от того, чему отдавал предпочтение Джефферсон. Система сдержек и противовесов, на которую рассчитывал Мэдисон, сыграла свою роль, но не всегда с пользой для лучших дел и не всегда посредством просвещенных представителей. Как раз в области общественного мнения кое-где, время от времени конформизм становился угнетающим, и диссиденты или еретики обвинялись в предательстве. Не федеральное государство, а волнения меньшинства проиллюстрировали в эпоху маккартизма тему, развивавшуюся Токвилем: мучение еретиков начинается там и тогда, где и когда общественное мнение желает быть независимым и священным.

Что касается европейских демократий, то сегодня их вновь обвиняют в формальности — не потому, что формальные свободы в понимании Маркса (личные свободы, всеобщее избирательное право, конкуренция партий) потеряли всю свою привлекательность, а скорее потому, что эти свободы почти никем более не оспариваются;

парламентские процедуры, можно сказать, превратились в ритуал, подлинная власть покинула собрания, а те, кто действительно ею обладают — администрации, группы давления, кабинет министров, партии, — игнорируют парламентские церемонии.

\* \* \*

Вернемся теперь к тому, что мы называли *общими тенденциями*, которые, по-видимому, заметили проницательные и пессимистичными наблюдатели: для них Палата общин начинает осознавать свою участь — участь короля, который царствует, но не правит, является символом, но не центром принятия решений.

В каком-то смысле никто не будет отрицать наличие этих *общих тенденций*. Во всяком случае, не слишком вдаваясь в рассмотрение этого вопроса, но отдавая должное теории без намерения опровергать ее, допустим, что *власть повсюду персонализируется* и что мы вступаем в *период принципата*; допустим (и это очевидно), что *централизованное государство берет на себя все больше и больше управленческих функций*, даже заявляя о *soziale Marktwirtschaft*<sup>86</sup>, что администрация, следовательно, расширяется, становясь более компетентной, более престижной. Допустим также, что *все больше решений принимается управляющими и функционерами* и все меньше — законодателями вслед за общественными обсуждениями. Наконец допустим, что *парламентские представители уже не являются на том же уровне, что и вчера, посредниками между властью и общественным мнением* (или избирателями), что жителей индустриального общества интересуют *проблемы социально-экономического порядка* и что средства массовой коммуникации акцентируют внимание на плебисцитарной составляющей западных государственных режимов и позволяют при необходимости манипулировать толпой, более озабоченной своим достатком, чем участием в дискуссиях по общественным проблемам, менее обеспокоенной распределением властей, чем результативностью их деятельности.

В чем именно и в какой мере политическая свобода уменьшается или подавляется? Пока партии кажутся представительными большинству граждан, иными словами, пока они за счет своего разнообразия представляют достаточно точное выражение различных мнений, среди которых ведется выбор индивидов или групп, свобода, определяемая как выбор правящих, сохраняется — несомненно, неполная свобода (но разве когда-то она была полной?). Можно сказать, что сегодня свободы больше, чем вчера, в той мере, в какой всеобщее избирательное право и необходимость убеждать массы людей, не возглавляемых представителями верхушки общества, ослабляет олигархический характер представительных форм правления. Теперь американскому президенту или британскому премьер-министру стало возможным обращаться непосредственно ко всем гражданам страны, а продвижение к высшему чину требует «телегеничности», в которой не нуждались те, кто в недавнем прошлом преодолевал ступени карьерной лестницы в тени кулуаров или в свете трибун благодаря своему красноречию или тонкому искусству завоевывать друзей. В США, где больше всех распространено телевидение, нет доказательств, что политическая игра от этого существенно изменилась или что изменились кандидаты на выборные должности, а то и в президенты. Телевидение, вероятно, обслуживало генерала де Голля, а язык социальной психологии проник в среду политического персонала. Каждый политик задается вопросом об «образе», в котором его партия или он сам могли бы с помощью маленьких экранов предстать взорам далеких миллионов телезрителей. Мне кажется, что французские комментаторы на этот счет свидетельствуют о рвении новообращенных. Президента Кеннеди, судя по всему, преподносили нам в телевизионных дискуссиях; на выбор партий или граждан — при всеобщем голосовании — обязательно повлияет прямое сообщение высшего руководителя и человека с улицы. непонятно, как это изменение, если таковое вообще имеется, указывает на упадок политической свободы. Наконец, если производители и потребители, бесспорно,

интересуются прежде всего проблемами, вытекающими из организации труда и перераспределения доходов, то почему же это должно быть иначе? По определению, если граждане свободны, то свои заботы в том, что их волнует, свои требования, которые необходимо отстаивать, они передают своим избранникам. В индустриальном обществе политическая борьба мнений сосредоточена по большей части вокруг сферы труда.

Попытаемся как можно точнее уловить суть дебатов, причины которых, по мнению некоторых лиц, объясняют меланхолический взгляд на спад политической свободы. Причиной же тому явно является судьба *представителей*, избранных законодателей. Вопрос, который звучит по-разному, в основе остается тем же. Как депутаты, не имеющие технической компетенции, смогут дискутировать с министрами, обладающими соответствующими знаниями в курируемых ими областях и имеющими в распоряжении лучших экспертов государственной службы? Как избранный по округу сможет противостоять авторитету президента или премьер-министра, обращающихся непосредственно к населению страны? Каким образом избранник, специалист по человеческим отношениям, может приспособиться к тем условиям, когда разногласия высказываются по поводу инвестиций, потребления, цен? Как человек, заботящийся исключительно о благосостоянии, пассивно открытый восприятию радио- и телеинформации, будет обращаться в гражданина, стремящегося участвовать в диалоге о всеобщем благе? Короче говоря, смогут ли члены технического, научного общества оставаться гражданами и законодателями — одни, устанавливая политическую свободу и возможность всех влиять на государство высшей ценностью, другие, способные к диалогу с властью, контролируя ее действия?

Давать категорические ответы на эти вопросы было бы претенциозно и неразумно. Но прежде чем предаться пессимизму на манер французов, напомним о пользе парламента, в том числе обесцененного, в Федеративной республике или в Великобритании. Партии выбирают



своего лидера, министры (или функционеры) принимают решения, а парламент вынуждает власть к гласному обсуждению государственно важных вопросов. Он остается тем местом, где кандидат на высокий пост должен зарекомендовать себя, а депутат, несмотря на партийную дисциплину, может при случае (национального кризиса или персонального скандала) заставить прислушаться к себе. В этом смысле парламент, даже утративший былое могущество, одним своим существованием угрожает главам государства публичными дебатами — угроза, значение которой принижают, пока она реально существует, но исчезновение которой подтверждает ее эффективность.

Во-вторых, ничто не мешает, по примеру американской практики, предоставить парламентским представителям инструменты, необходимые для выполнения функций контроля. Конечно, дилетант не способен вести дискуссию с министром обороны о соответствующей ценности той или иной системы вооружения. Но министр обороны — это дилетант, опирающийся на помощь экспертов. Законодатель, который при содействии экспертов, специализировался бы на изучении определенных проблем, не уступал бы безнадежно по уровню своему собеседнику. Во всяком случае, он публично смог бы выдвинуть разумные аргументы против решения власти.

В-третьих, человек индустриального общества причастен к объединениям двух типов — профессионалов в широком смысле слова (рабочих профсоюзов, предпринимательских профсоюзов, организации промышленной или сельскохозяйственной области), собственно политиков в узком смысле слова, партий, конечной целью которых является осуществление власти или оппозиция. Допустим, что участие в общественных мероприятиях через объединения второго типа сегодня менее важно для индивида и одновременно менее воздействует на государство. Пока существуют объединения первого типа, человек гражданского общества, по марксистскому выражению, не будет лишен политической свободы при

условии сохранения некоторого влияния на общественные дела за счет неизбежной причастности к объединениям производителей и потребителей.

Некоторые идут дальше в этом направлении мысли и, обновив корпоративистские по происхождению тезисы, объявляют партийное представительство анахронизмом и призывают к представительству интересов, официально признанному Конституцией. Большинство желает сохранить оба вида представительства — партийное и профессиональное, — но чтобы оживить первое, оно хочет сделать основной темой парламентских дебатов управление экономикой, распределение ресурсов и доходов, а в случае Франции и само экономическое планирование.

*Деполитизация*, определяемая более точно термином *деидеологизация*, является точкой отсчета тезисов, развиваемых реформаторами. (Здесь мы возвращаемся в рамки французских реалий.) Неправда, говорят они, что французы стали безразличны ко всему тому, что выходит за пределы их личных дел. В действительности, никогда столько индивидов не осознавали, что их судьба зависит от общества в целом, от хода развития народного хозяйства, от уровня его роста, от повышения цен. По-надобилось пятнадцать лет прогресса французской экономики, чтобы теоретическая истина об общности интересов между переменными системы стала коллективным опытом. Во Франции, где значительный сектор экономики национализирован, где цены на сельскохозяйственную продукцию по большей части если не фиксированы, то во многом зависят от государства, производители и их ассоциации неизбежно *политизируются*, если понимать под этим словом то, что они обращаются к государству или чувствуют себя зависящими от него. Экономические проблемы во Франции еще больше, чем в большинстве западных стран зависят от общественной деятельности, поскольку власть иногда их решает и всегда использует. Раз крупные решения, так сказать, заранее включены во французский хозяйственный план, то почему бы в соответствии с демократическими

принципами не представить на рассмотрение сам план сначала профессиональному, а затем партийному представительству? Почему бы не сделать основным содержанием политической полемики социально-экономическое управление сообщества?

Прежде чем анализировать эти концепции, я хотел бы подчеркнуть *неизменную роль партийного представительства*. Некоторые американские читатели сочли бы такую настойчивость бесполезной, некоторые французские читатели — устаревшей. Партийное представительство основано на двух идеях: первая состоит в том, что человек является не только производителем или потребителем, но и гражданином, членом особого сообщества со своими собственными ценностями, которое как таковое стремится существовать среди других сообществ. Отрицать партийное представительство — значит отрицать гражданина, даже если у него есть лишь одно право — выбирать своего представителя, даже если в нем отказываются видеть кого-то еще, кроме производителя и потребителя. Вторая идея заключается в том, что партийное представительство должно служить посредничеством между профессиональными группами государства. Различные партии имеют более или менее тесные связи с теми или иными интересами. Никто не согласится связать себя с исключительным интересом, каждый претендует воплощать идею страны, исполнение общего блага, миссии, национальной или даже универсальной.

Без сомнения противники «партийного представительства» могли бы ответить, что выборы президента республики без такого представительства соответствуют передаче власти: общество поручает человеку, окруженному выбранной им командой, направить деятельность общественных властей на общее благо, урегулировать внутренние интересы, нести ответственность за принятие важных решений в отношении других обществ. Всякое представительство предполагает частичное делегирование полномочий: иначе говоря, избранник не только отстаивает требования или выражает предпочтения

доверивших ему свои избирательные голоса, он выносит свое мнение по рассматриваемым им проблемам, оставаясь при этом в какой-то мере выразителем общей воли, а не только частной (или коллективной), т. е. воли тех, кто предоставил ему свой мандат. Генерал де Голль в действительности временно оказался уполномоченным большинством нации для исполнения двойной обязанности выразителя общего блага, о которой говорилось выше, — внутригосударственного арбитра и ответственного за внешнеполитические решения.

Это решение не представляется мне ни долгосрочным, ни соответствующим чаяниям какого угодно политического аппарата в современной стране. Глава исполнительной власти и так, независимо от формы государственного правления, *ответствен* за дипломатию или национальную стратегию. Но, если не упразднить интеллектуальные свободы, он будет каждую минуту критиковаться прессой. Если исчезнет партийное представительство, то места, где решения ответственного лица могут рассматриваться публично, согласно конституционной процедуре, больше не будет. У единственного уполномоченного не будет больше собеседников, равных ему по популярности. Другими словами, сочетание своего рода *выбранного монарха*, единственного уполномоченного по делам государства во имя общего блага с чисто профессиональным представительством кажется мне в обычное время противоречивым. Оно предполагает либо *популярность одного человека*, которую создают только исключительные обстоятельства, либо отличный от демократического *принцип легитимности*, восстановление монархии.

Таким образом, большая часть людей науки или дела, озабоченных будущим политической свободы, не желает устранения партийного представительства, опасаясь последующего политического упадка. Для того чтобы партии исполняли роль посредника, они должны выражать различные направления общественного мнения, выглядеть перед гражданами выразителями интересов основных классов нации, носителями основных

концепций всеобщего благосостояния, разделяющихся в стране. Каждая из партий должна быть способна представить в обобщенной, доступной форме совокупность задач, которые могла бы поставить перед собой правительственная команда. Вчера, когда одна партия — коммунистическая или национал-социалистическая — сама в основном стояла в оппозиции к существующему порядку, отлаженная конкуренция становилась невозможной, поскольку один из конкурентов в случае победы положил бы ей конец. Голосовали в первую очередь за или против государственно-политической системы, а не за проведение определенной внутренней политики системы. Не возникает ли обратного риска, при котором партии неспособны представить в форме совместной программы свою критику или свои проекты и от этого становятся неспособными придать своему соперничеству другой смысл, кроме *спортивного матча* между двумя людьми или двумя командами? Удивительно и характерно для французских интеллектуалов, что, едва выйдя из собственно идеологической борьбы линий, они задаются вопросом о судьбе политики без идеологии. Тема эта, впрочем, была в моде в Европе (в Германии и в Великобритании) на протяжении последних лет. «Безальтернативное большинство» — с удовольствием говорят в ФРГ. Как оппозиция может одержать верх над правительством, которое хвалится ростом НВП с 4% до 5% в год при том, что результаты этого подъема распределяются по-прежнему неравномерно?

Конкуренция между двумя партиями или между двумя сплоченными коалициями соответствует сущности демократии — даже если на карту поставлен выбор скорее между двумя командами или двумя людьми, чем между идеями — при одном условии: эти две команды не оставят важное меньшинство нации с чувством неудовлетворенности в том случае, когда это меньшинство не сможет примкнуть ни к одной из двух партий и будет упрекать обе партии за нежелание выражать его требования. Всякая партийная система рискует потерять контакт с частью тех, кого она должна представлять.

Более того, утверждать, как это делают многие французские политологи, что в США существует «абсолютный консенсус американских граждан на счет американского общества и что предметом обсуждений являются только незначительные детали»<sup>87</sup>, — это крайность. Правда, большинство американцев не ставят под сомнение Конституцию, но считать «незначительными деталями» реформы *New Deal* или дезагрегацию — значит делать непостижимыми и почти абсурдными вчерашние и сегодняшние политические страсти. Пренебрежение стороннего наблюдателя объясняет, но не оправдывает следующее: французский интеллектуал никогда не склонен считать главным то, что не фигурирует в центре дебатов в качестве, *на его взгляд*, главного.

Однако даже более или менее «освободившийся» от марксистского догматизма политолог не желает пожертвовать антиномией «капитализм — социализм», которая соединяется в его глазах с антиномией «частная собственность — общественная собственность» (по крайней мере, он считает финансовые права и власть собственников сущностью капитализма и корнем присущей ему несправедливости). Даже если незначительное меньшинство в США объявит себя социалистическим, желающим ликвидации частной собственности, потребует интегрального планирования, то перед США встанет большая часть проблем современного социализма. Может быть, Соединенные Штаты и отстают от европейских государств в том, что касается распространения социального страхования или перераспределения доходов. Требование социального равенства, более глубокое и более традиционное, чем в Великобритании, не приводит к столь же сильному стремлению к экономическому равенству. Прибыли капитала, даже случайные, облагаются налогом, но не осуждаются как незаконные и несправедливые.

Обманчивое впечатление относительно консенсуса в обществе — консенсуса, который к тому же ограничивается Конституцией, — возникает также в связи со структурой партий, каждая из которых выступает как коалиция

и включает в неравной пропорции людей правых и левых воззрений. Символом такого разнородного сочетания является (или являлось) присутствие в одной и той же демократической партии сегрегационистов Юга и либералов Севера. Так называемое консервативное большинство в Конгрессе (часто способное заблокировать президентские проекты), состоит из демократического меньшинства и республиканского большинства. Несмотря ни на что, в каждом штате США кандидат, помимо своих собственных заслуг или недостатков представляет ту или иную тенденцию: «за» или «против» big State, «за» или «против» распространения социального страхования, «за» или «против» растущего вмешательства государства в экономику, «за» или «против» кейнсианства и бюджетного дефицита, «за» или «против» перераспределения доходов, «за» или «против» принятия неравенства, которое постоянно возникает за счет свободного функционирования экономики. Дискуссии идут не о ничтожных деталях, но об ответе на те две разновидности критики, которые были кратко проанализированы во второй лекции: подтверждения посредством коллективной воли спонтанного распределения прибыли, богатств или власти; сохранение прав (или привилегий, как считают некоторые) человека и группы<sup>88</sup>. Позицию занимают по отношению к значимым тенденциям в общественном мнении и по отношению к двум видам критики, направленных против существующего порядка, а они, в свою очередь, связаны с двумя образами идеального общества, между которыми и происходит на этой стадии выбор развития общества, именуемого ныне «обществом изобилия».

В иной форме, связанной в каждой стране с социальным положением и с идеологическими традициями, в партийной конкуренции проявляется выражение или эхо споров между «уравнителями» и «либералами», догматиками демократии и догматиками свободы, причем большая часть догматических демократов принадлежит к школе эгалитаризма. В Великобритании в центре внимания находится неравенство и «социальная дистанция»<sup>89</sup>

в той же мере, что и экономическое неравенство. В ФРГ национализация средств производства перестала быть требованием социал-демократии; социал-демократы ждут от власти (к которой они стремятся) освящения *морального равенства* между представителями рабочих и представителями привилегированных слоев, равно как и уравнилельных реформ.

Что касается Франции, то сами дискуссии, которые ведутся в ней по окончании «идеологической эпохи», постоянно показывают склонность все идеологизировать. Общественное мнение и даже интеллектуалы в течение последних нескольких лет обратились к очевидным фактам: прогрессивный характер экономики меняет понятия, в которых традиционно формулировались социальные проблемы. Три года экономического прогресса принесли трудящимся больше, чем смогло бы добавить каждому из них равное перераспределение капитала: экспансия, увеличивая размеры пирога, позволяет увеличить и каждую его часть, а следовательно, смягчить конфликты, неизбежно возникающие из-за слишком очевидных усилий отнять у одних, чтобы отдать другим. Короче, приняв экспансию как продолжительное явление, как структурную черту западных обществ, большая часть интеллектуалов — за исключением совсем уж не-исправимых — либо смирилась с ней, либо потеряла интерес к обществу, которое решает свои дела, не прибегая ни к философии, ни к насилию, либо начала поиск концепции, которая соответствовала бы реальности. Выдвинутая Э. Фором формула *нового социального договора* достаточно ясно выражает это новое состояние духа.

Центральная идея теперь состоит в том, чтобы *справедливо* перераспределить между различными участниками результаты экономического прогресса. Эта идея, очевидно, ничего не решает, поскольку еще со времен Аристотеля известно, что справедливость может определяться *равенством* или *пропорцией* (не принимая во внимание прогрессию, которая сочетается с пропорциональностью или противостоит ей). Критерий



справедливости трудно определить, и применять его можно по-разному. Предположим, что дополнительные ресурсы, полученные благодаря экономическому росту в течение последних четырех лет, должны быть распределены сначала по решению государства-планификатора между инвестициями и потреблением, затем, когда часть потребления уточнена, ее нужно распределить между различными социальными группами, причем так, чтобы часть национального дохода, причитающаяся каждой из них, возрастала в той же самой пропорции. Каким образом будут разграничены группы? Статистические обобщения — сельскохозяйственные производители, работники частного сектора промышленности, работники национализированного сектора, коммерсанты, лица свободных профессий — скрывают огромные различия между крупными и мелкими субъектами (например, в сельском хозяйстве между малоприбыльным владельцем, вынужденным покинуть землю, и модернизовавшимся предпринимателями, сравнимыми с промышленниками). Внутри графы «работники промышленности» неизбежно возникают различия между отраслями: одни быстро прогрессируют, другие — находятся в стагнации или в упадке, равно как и между предприятиями: лучше управляемые и наиболее производительные способны платить более высокую зарплату. Вряд ли требуется более глубокий анализ, дабы уловить, что социализация «только доходов» и «справедливое распределение продуктов экономического подъема» — это лозунги, которые каждый может выдвинуть, но никто не в силах точно хоть что-нибудь подсчитать. В перспективе этот лозунг может получить фактическое подтверждение как при любых действиях правительства, так и при его бездействии. А краткосрочно он всегда будет опровергаться. «Политика прибыли», к которой стремятся политические деятели и планификаторы, часто с полным основанием превышает средства власти. Франция, как и другие страны (или даже больше их), неспособна распределять по сознательной воле правящих кругов национальный доход между получающими сторонами за

отсутствием достаточно обработанных и точных статистических данных без учета важности смешанных доходов, доходов сельскохозяйственных собственников и коммерсантов (которые повсюду уклоняются от статистики, как и от налоговых органов), а также по причине крайне неравномерной производительности в разных секторах экономики и на разных предприятиях.

Посредническая деятельность партий между индивидами и группами интересов, с одной стороны, и действия правительства — с другой, не принуждены исчезнуть с экономическим прогрессом и движением общества по пути всеобщего благоденствия. Такая деятельность во всех странах требует того, чтобы законодатели получали необходимые средства, техническую помощь, позволяющие им на соответствующем уровне вести дискуссии с министрами и экспертами. С другой стороны, партиям не всегда удастся придать ясность и значимость тому, что они отстаивают в своих спорах, и существует риск, что в крайнем случае избиратель отдаст свой голос скорее человеку или команде, чем предпочтет ту или иную идею.

Однако этого крайнего случая можно избегать. Экономика опирается не на одну-единственную модель развития, и примирение между социальным или экономическим равенством и личными свободами, между сторонниками демократического догматизма и выступающими за ограничение роли государства в общественной жизни, между прометеевской гордыней и уважением личных инициатив никогда не гарантировано. Установление иерархии этих идеалов характеризует тип человека или ориентацию партии в постидеологический период развития общества. Французы время от времени перестают надеяться на партийное представительство и на собственно политические дискуссии внутри государства, оттого что голлизм спровоцировал или ускорил смерть прежних партий, ничего не предоставив взамен, и лишил возможности фактически оспорить важные внешнеполитические решения. Можно безо всякого риска критиковать голлистскую международную политику, но почти нет никаких шансов повлиять на нее.

\* \* \*

Если общество прогрессивного хозяйства не угрожает политической свободе, отстраняя *представителей*, нужно ли говорить о том, что оно ей угрожает, отстраняя *граждан*? Сохранил ли производитель или потребитель, т. е. человек, которого Маркс называл членом гражданского общества, какую-то преданность политической свободе в том точном значении, которое мы придали этому словосочетанию в нашем выступлении?

Те, кто дает отрицательный ответ на этот вопрос, приводят многочисленные аргументы. Они не отрицают, что европейцы твердо придерживаются свобод, которые потеряли бы в обществе советского типа. Среди них фигурируют свобода высказываний, свобода перемещения за рубеж или свобода выбора товаров. Но они утверждают, что производители или потребители как граждане чувствуют себя компетентными в одном определенном кругу и, следовательно, склонны делегировать другим заботу о принятии сложных решений, необходимых для управления государством. После чего — и это второй аргумент — они будут «за» или «против» конституционной меры или административной процедуры, скорее исходя из ее предполагаемой действенности, чем опираясь на принципы. Они получают информацию только с помощью прессы, радио и телевидения, которыми манипулирует государство и власть денег. Не в рамках всего общества, а в рамках предприятия, региона или профессии каждый надеется обрести свободу, в том смысле, в каком она означает способность влиять на свою собственную судьбу и на судьбу сообщества.

Никогда в прежних обществах столько людей не информировалось так широко об общественных делах. Безусловно, эта информация, передаваемая по радио и телевидению, не равнозначна *предписанию*. Возможно, общественные процессы усложняются быстрее, чем поступающая информация. Но граждане, способные компетентно обсуждать важные решения, всегда были в меньшинстве. Сегодня это меньшинство сузилось не

больше, чем вчера. Стало ли оно менее компетентным? Действительно ли решения понятны только небольшому числу специалистов? Лично я так не считаю.

Важные решения делятся на два типа: одни касаются экономической конъюнктуры, другие — стратегии и (на заднем плане) термоядерных вооружений. И в том и в другом случае специальная подготовка, необходимая гражданину и особенно избраннику, включает кое-какие знания экономической науки, кое-какие заключения о парадоксах устрашения. Но человек политики не нуждается в понимании способа функционирования вычислительных машин, уяснения тонкостей линейного программирования или создания термоядерной бомбы для того, чтобы быть способным принимать столь же разумные решения, какие принял бы специалист по этим машинам, программам или этой технике. Уровень понимания, требуемый от тех, кто участвует во внутригосударственном диалоге, сейчас выше, чем когда-либо; сегодня — как и вчера — он превосходит уровень большинства граждан. Он вполне доступен для просвещенных дилетантов или, если угодно, для культурных людей.

Итак, что же остается от аргументов, которые приводят пессимисты? Бóльшая забота об эффективности, чем о конституционных принципах? Это относится к Франции, но не к США. Обе страны в этом отношении кажутся менее измененными техническими новшествами, чем утвержденными в своих обычаях. "Economist" от 7.09.1963 г. воспроизвел любопытный отрывок текста одного из своих номеров столетней давности (5.09.1863):

Франция во всех отношениях добилась такого прогресса в экономической области, что наиболее осведомленные и наиболее прозорливые наблюдатели едва могут это объяснить. Французов мало заботят игры и зрелища парламентских конфликтов, в которых Империя им отказала. Они больше пекутся о социальном равенстве — равенстве бессилия, если угодно, но все же о равенстве, которое Империя им гарантирует. Они очень озабочены явной эффектив-

ностью действия, как внешнего, так и внутреннего, составляющего ощутимую и определенную реальность.

Нынешние французы не потерпели бы, конечно, равенства в бессилии под имперским владычеством, но они сохраняют свои свободы, не жалея об отсутствии парламентских игр, сопровождающемся «явной эффективностью».

Каков интеллектуальный уровень избирателей и далее, как оценивать ожидаемый от них политический выбор? С тех пор как было введено всеобщее избирательное право, многие критики системы выборов стали указывать на невежество, ограниченность тех, кто конституирует Суверена. Интеллектуальный уровень членов индустриального общества сегодня, конечно, не ниже уровня избирателей Третьей республики. Очевидно, что они даже лучше информированы о происходящих в мире событиях, глубже осознают проблемы, требующие решения.

Во Франции любят говорить об упадке нотаблей: и впрямь кажется, что известная категория людей с положением — врачи, профессора, учителя, — представлявшая изрядную долю избранников в президентских республиках и служившая посредниками между округом и столицей, потеряла престиж и авторитет. В профессиональных организациях проявляют активность новые кадры: политических или, как мы их называли выше, партийных кадров часто недостает обществу, которое быстро урбанизируется и идет по пути «массификации», если понимать под этим словом сходство условий, характерных для тысяч семей, не способствующих, однако, созданию подлинной общности во всем близких, не отделенных друг от друга людей — людей со сходной судьбой, которые тем не менее не признают друг друга. Таким окольным путем мы возвращаемся к кризису «партийного представительства».

Выберут ли массы большее зло, чем крестьяне Третьей республики? Если говорить об интеллектуальном или моральном уровне избранников, то решение в меньшей

степени зависит от избирателей, чем от партий: каковы те, кого в определенный исторический период привлекает политическая карьера? Неловко в отношении Франции и тем более всего Запада формулировать общие высказывания, объявлять, что кривая изменений социальной активности населения поднимается или опускается. Когда на континенте рабочие и служащие в период исключительно быстрого экономического роста впервые фактически убедились, что при существующем строе материальное и социальное продвижение доступно всем людям, а не одному классу, за счет революционной демиургии, то активных участников как партийной, так и профсоюзной работы поубавилось; даже профсоюзным активистам часто с трудом удается пробудить подлинный интерес среди своих членов, добиться их присутствия на собраниях или собрать взносы.

Быть может, это временное явление? Возможно. Будь оно продолжительным, оно еще не имело бы того значения, которое ему придают. Активные граждане всегда были и будут в меньшинстве. Конкуренция между фракциями этого меньшинства в конечном счете решается судом пассивного большинства, даже так называемых нерешительных избирателей, тех, кто колеблется, либо потому что дольше раздумывает, либо потому что меньше осведомлен. В допущении, что так оно и есть, еще нет ничего принципиально нового, и, когда партии, борющиеся за избирательные голоса, воплощают главные тенденции общественного мнения или формулируют доступным языком потенциальные ориентиры политических действий, выборы выполняют функцию, имеют смысл, приносят ожидаемую пользу.

И пессимисты, и оптимисты — все наблюдатели констатируют, что никогда раньше во Франции, заподозренной в «деполитизации», изучаемые группы не были столь многочисленны, члены гражданского общества так глубоко не осознавали связь своей профессиональной активности с конъюнктурой в целом, своей судьбы с решениями, принятыми государством. Инвестиция, производительность, изучение рынков, цена, перераспределение

национального дохода — все эти понятия введены в разговорный язык, и с их помощью молодой крестьянин так же, как молодой рабочий или даже лучше, понимает условия происходящего на своей работе. В этом смысле гражданское общество, о котором говорил Маркс, стремится к политизации, если политика определяется диалектикой частного и общего, солидарностью работы каждого и судьбы всех.

Если это действительно так, то разве человек в гражданском обществе не должен быть сегодня «освобожденным», как того хотел Маркс? Не является ли монархия предпринимателя тем, что нужно разрушить ради реализации демократии и социализма? Итак, мы вновь обнаруживаем аргумент, часто используемый для сохранения непримиримой антиномии капитализма и социализма, и сталкиваемся с одной из сторон проблемы, которую поднимает марксистская антитеза, — формальные свободы — реальные свободы. Что значит свобода труда, или какими свободами пользуется и может пользоваться трудящийся на предприятии?

Согласно определению свободы — способности самому выбирать свои цели и средства в зависимости от естественных и законных условий, — свободными могут называться только *независимые*, т. е. сельхозпроизводители, торговцы, предприниматели, работники свободных профессий. Но независимые представляют собой незначительное меньшинство населения, и среди них много мелких собственников (особенно в сельскохозяйственном секторе), имеют настолько скромные доходы и живут под таким давлением экономической среды, что само собой вновь возникает различие между юридической независимостью и реальной зависимостью.

Рабочие являются (в возрастающем соотношении) наемными работниками, жизненный уровень которых все же не скатывается до нищеты или отупения. Социальные законы защищают их от ударов судьбы, и рабочие организации позволяют им вести дискуссию с нанимателем, будь он частным лицом или коллективом. Государственное законодательство и профсоюзная сила устанавливают

непреодолимый разрыв между тем *пролетарием*, которого видел и ожидал видеть в будущем Маркс, и *наемным работником* сегодняшнего дня. Из этого не следует, что наемный работник свободен. Вывод в том, что понятие свободы, приложимое к условиям наемных работников, двусмыслен и социологи редко его используют.

Наемный работник в той же степени, что и производитель, интегрирован в технико-бюрократическую организацию, в иерархию власти; в той же мере, что и потребитель, он располагает определенным доходом, который позволяет ему приобрести часть коллективной продукции. Процитированное нами ранее выражение Маркса, что *труд является местом необходимости*, верно в той мере, в какой организация подчиняется закону производительности и технического прогресса. Конечно, сама техника в материальном смысле имеет различные формы организации, так же как иерархия власти однозначно не определяется дисциплиной и авторитетом по принуждению. Но социолог, анализирующий умонастроение отдельного наемного работника или рабочих организаций, будет искать многочисленные переменные, объясняющие ту или иную позицию и поведение: соотношение затрачиваемых усилий и получаемого вознаграждения, формальные и неформальные отношения внутри одного производства, наличие или отсутствие интереса к должности, занимаемой работником, соотношение кажущихся справедливыми притязаний и получаемого удовлетворения, стремление той или иной группы к участию в принятии решений, согласие между существующим порядком и представлением о порядке справедливом и т. д. Ни понятие рабства, ни понятие свободы не соответствуют жизни наемного работника, замкнутого чаще всего в узком пространстве инициативы и тем не менее достигающего с помощью профсоюза своего рода диалога с ответственными за управление лицами.

Возможна ли другая реальная свобода — освобождение на рабочем месте? Освобождение благодаря национализации орудий производства оказалось на деле еще более формальным или, лучше сказать, еще более фиктивным,



чем так называемые формальные свободы: за исключением Югославии, на предприятиях советского типа производственная дисциплина более строгая, а право профсоюзного оспаривания более ограничено, чем на капиталистических предприятиях. Рабочие советы, возникавшие в Польше и Венгрии во время революций 1956 г. спонтанно, как и пролетарские надежды прошлого века, грубо подавленные режимом, ставшим авторитарным во имя пролетариата, выходили из коллективного бессознательного и внезапно поднимались на поверхность, мало по малу ослабели и в итоге исчезли. На Западе же попытки «демократизировать» предприятие увеличиваются.

У всех слишком разный и только частичный опыт, чтобы с уверенностью можно было вынести общее суждение. Поэтому наши предположения сформулированы в качестве гипотезы на основе личного убеждения. Способы назначения глав предприятий — государственное назначение, кооптация директоров с теоретическим избранием административными советами, передача собственности по наследству — должны оцениваться скорее не в соотношении с абстрактной идеей справедливости (передача состояния по наследству не кажется мне несправедливой), а в соотношении с результативностью способов их управления. Мне не кажется, что способ назначения директора оказывает глубокое воздействие на чувство неудовлетворенности или причастности наемного работника к делам предприятия.

Каковы бы не были уступки в угоду желаниям части служащих (особенно кадровых) участвовать в управлении предприятием или контролировать его *a posteriori*, крупные современные предприятия всегда предполагают концентрацию власти в руках нескольких людей. Диалог с представителями персонала и еще более с кадрами может предшествовать принятию решений или следовать за ним. Но эти решения будут приниматься ответственными лицами, а при особых обстоятельствах — одним ответственным лицом. Политическая свобода разочаровывает, потому что у большинства людей очень часто, и вполне законно, появляется чувство, что эта свобода формальна

в смысле ее бездейственности, иначе говоря, что у них нет ни малейшего шанса заметно повлиять на судьбу общества, в котором они живут. Я опасаясь, что политическая свобода, т. е. выборы или дискуссии, вводимые на предприятии, разочаровывают не меньше. Чем больше коллектив, тем меньше его членов сознает, что их общая судьба в значительной мере зависит от их усилий. Все необходимые реформы, содействующие участию в работе предприятия (путем информированности и налаживания диалога) тех, кто надеется выйти за узкие рамки своей должности и осознать свою целостность с коллективом, не устраняют антиномии между демократической идеей и иерархической структурой производственной деятельности, между равенством граждан и неравенством власти, которой располагают люди в индустриальном обществе.

Это антиномия, которую одни хотят сгладить путем мистификации революции, совершенной во имя пролетариата, но которая обеспечивает всемогущество олигархии, антиномия, которую другие признают, но вместо поиска способов ее разрешения пытаются сделать ее терпимой, налаживая работу множества референтных групп. Подчинение необходимости, которую навязывает предприятие, частично компенсируется равенством, провозглашаемым политическим порядком. Сильные борются за избирательные голоса слабых, которые сильны своей многочисленностью. Нерабочая сфера свободна от необходимости. Досуг открывает другой тип свободы.

\* \* \*

Природа индустриального общества, даже под формой либеральной демократии, дает повод для культурно-политической критики. Мобильность общества высока как никогда, а демократизация образования повысит шансы на повышение по службе. Все это так, но когда-то стабильность была нормой и маловероятность подъема не воспринималась как утрата. Завтра дети рабочих и крестьян будут испытывать чувство утраты свободы, на которую каждый имеет право, — свободы выбора своего существования.

Наемные работники дискутируют со своими работодателями и выбирают профсоюзных руководителей или своих уполномоченных. Все так, но никогда техническое и организационное принуждение не было таким очевидным, никогда оно так сильно не сужало пространство инициативы для большинства наемных работников (по крайней мере тех, кто работает по профессии).

Потребители никогда еще не располагали таким количеством средств освобождения (относительного) от рабства повседневной жизни. Бытовая техника сокращает труд женщины, как заводская техника — труд мужчины. Никогда раньше столь большая часть населения не имела возможности познакомиться с таким числом других стран, проехать столько тысяч километров, так легко избегать провинциальности. Если реальная свобода — это свобода выбора, то потребитель становится все более и более свободным, как и рынок на пути к обществу всеобщего изобилия. Все так, но удовлетворение отстает от нетерпеливых желаний и навязчивой идеи экономического подъема, вырабатывающей, помимо дополнительных принуждений, мобильность, малосовместимую с желанной социальной защитой.

Своими избирательными голосами граждане делают выбор по крайней мере между двумя командами, если не между двумя политиками. Все так, но, возможно, никогда еще гонка вооружений и международные конфликты не казались такой фатальностью, против которой сознание торжественно протестует, а в долгосрочной перспективе — по отношению к Богу, — может быть, даже побеждает, но на этой земле и в течение человеческого существования оно бессильно.

Ни правящие круги, ни государственно-политический порядок не могут устранить две причины принуждений, которым подчиняются условия жизни всех и вся: объем обществ (компаний) и строгость организации, которой каждую минуту властно управляет наука и беспрестанным обновлением которой она управляет не менее властно, в том числе и благодаря своему прогрессу.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На предыдущих страницах мы использовали слово «свобода» то в единственном, то во множественном числе, стараясь всякий раз уточнить специфику соответствующего словоупотребления. Другими словами, мы заведомо предположили, что существуют свободы, а не одна свобода по преимуществу, или же что в каждом обществе люди свободны делать те, а не иные вещи. Что касается предметов этих свобод (спорных или нет), то мы отобрали их на уровне простого наблюдения, используя обычный разговорный язык. Обратившись сначала к Токвилю и Марксу, к противопоставлению так называемых формальных и реальных свобод, мы сопоставили одну философию с другой и с нашим нынешним опытом. Обращаясь то ко вчерашним идеям, то к сегодняшнему миру, мы попытались прояснить некоторые аспекты общественной жизни последнего и ценности, которые он воплотил или отверг.

Этому эссе, которое, мне кажется, даже по своему объему является лишь очерком, можно предъявить три существенных возражения. Во-первых, не предложив строгого, аналитического определения того, что заслуживает называться «свободами», мы обобщили — попеременно или одновременно — в одном понятии: права, писанные в законе, и фактические способности, участие в общественной деятельности и взаимоограничение властей, личную жизнь людей и государственную организацию. Следуя такому словоупотреблению, не сравнили ли мы несравнимое и не обозначили ли одним именем те положения, которые должны быть различимы, даже если общественное мнение или политические партии ухитряются их смешивать?

Во-вторых, на каком основании, по другому пункту, вопреки общественному и партийному мнениям мы утверждали — скрыто или явно, — что ни избрание правящих управляемыми, ни *отсутствие принуждения* (Ф. А. Хайек) не составляют сущность свободы?

Наконец, в-третьих, мы затронули некоторые аспекты социального анализа, оставив без внимания индивидуального актора. Мы опустили всякое обсуждение способа поведения, который — метафизически или морально — заслуживает называться свободным.

В этом кратком заключении мы не претендуем исчерпывающе ответить на эти возражения или восполнить существующие пробелы, мы хотели бы, подытоживая все три лекции, подчеркнуть их смысл и очертить их границы.

\* \* \*

Вернемся к аналитическому определению свободы в социальном смысле этого термина, например к определению Феликса Оппенгейма<sup>90</sup>. Заявим, что слово «свобода» применяется к социальным отношениям, т. е. к отношениям между отдельными индивидами или группами. Один актер свободен *по отношению к другому актору* делать то или иное («то» или «иное» указывает на определенный выбор, а не на выбор чего угодно): следовательно, социальная свобода на микроуровне содержит одновременно свободу *from* (от) и свободу *to* (для). Если я свободен идти в синагогу в субботу или не идти туда, идти в какую-то церковь в воскресенье или не посещать никакой, я пользуюсь свободой вероисповедания, иначе говоря, другие члены общества, частные или публичные, не могут помешать мне участвовать в отправлении культа по моему выбору или наказать меня, если моя религия им не нравится. Возможность выбирать между двумя действиями, не будучи при этом остановленным другими и наказанным за сделанный выбор, означает освобождение от зависимости по отношению к другим в определенной области. Говоря словами нашего автора, «я свободен делать нечто определенное при условии, что никто не мешает мне это делать или не наказывает меня за содеянное, а также не вынуждает или не обязывает это делать»<sup>91</sup>.

Данное определение имеет множество следствий, но мы ограничимся рассмотрением только тех, которые интересны нам из-за возможности выявить разнородность свобод.

Первое следствие, более всего связанное с антиномией *формальные свободы — реальные свободы*, таково: *быть свободным делать что-либо и быть способным делать что-либо* — совершенно разные понятия. Неспособность становится несвободой (*unfreedom*) только тогда, когда ее создает вмешательство других.

Несомненно, что кое-кто, не имеющий способности или энергии стать кандидатом в президенты, свободен, однако, быть им; точно так же большинство из нас неспособно, но свободно стать миллионером или получить Нобелевскую премию<sup>92</sup>.

Быть свободным (*free*) — одно, а быть способным (*able*) — совсем другое. Установив это различие, надлежит вместе с цитируемым нами автором признать правоту Герберта Спенсера.

Отсутствие бесплатной системы публичных школ не наносит ущерба свободе любого ребенка получать образование и развивать свои способности, даже если его родители не способны оплачивать школьные расходы<sup>93</sup>.

Второе, столь же очевидное следствие этого определения заключается в том, что любой член общества несвободен в отношении бесчисленных действий (всех тех, которые запрещает закон) и свободен во многих действиях благодаря закону, запрещающему другим препятствовать их совершению (посещать избранную мною церковь, обнародовать мое мнение, путешествовать за границей). Наконец, законы часто предоставляют некоторым акторам свободу относительно известных действий, делая других акторов несвободными в отношении первых. В политическом строе США решение Верховного Суда отнимает у штатов свободу сохранять сегрегацию, завтра закон сделает многих граждан несвободными в отношении отказа чернокожим в работе или в найме квартиры, в допуске в определенные заведения. При анализе такого рода становится очевидным, что не существует какой-либо целостности, которая может называться свободой индивидов или свободой народов. Всякий закон отнимает некоторые свободы у одних, одновременно наделяя некоторыми свободами других или всех.

В свете этих умышленно кратких замечаний сперва воскресим в памяти исторический спор между французскими контрреволюционерами и революционерами, между сторонниками *конкретных свобод*, которыми коммуны, университеты, сословия, лица пользовались при Старом порядке, и сторонниками *свободы*, установленной благодаря его разрушению. Контрреволюционеры сразу же после Французской революции постарались, в соответствии с диалектикой исторического конфликта, перехватить у своих противников это священное слово. Изолированный, беспомощный в созданном буржуазией обществе денег индивид отнюдь не является свободным; в действительности он раб анонимного государства, жестокого общества, где человек человеку чужак, если не враг. Вчера те же самые индивиды были объединены в живые сообщества, каждое из которых имело *свободы*, уважаемые королевским абсолютизмом, ибо власть монарха была в определенном смысле независимой (она не зависела ни от выбора, ни от одобрения управляемых), но не распространялась на все, останавливаясь на границах прав и свобод, которые традиция признавала за лицами и сообществами.

Токвиль, будучи выходцем из стариннейшей аристократии, понимал контрреволюционную аргументацию и чувствовал контраст между *свободами*, которыми некоторые пользовались при Старом порядке, и *равенством подданных* наполеоновской империи. Послушание королю не казалось ему раболепным, потому что оно выражало веру в легитимность монархии<sup>94</sup>. Но Токвиль равно замечал и другой аспект исторического кризиса. Конкретные свободы некоторых — лиц, сообществ или сословий — означали несвободы от других. Не оправдывая себя более служением, эти свободы представлялись привилегиями. При аналитическом подходе они оказывались конкретными свободами (например, независимостью по отношению к налоговым чиновникам при определении размеров налогообложения), но, будучи связанными с сословными статусами, эти привилегии противоречили чувству равенства, которое фактически

смягчило социальную неоднородность. Управляемые, или по крайней мере их активное меньшинство, желали какой-то политической свободы, в общих чертах понимаемой как реформы, которые ограничили бы королевский абсолютизм, дав французам свободу выбирать представителей; последние, в свою очередь, были бы свободны обсуждать законы или контролировать действия власти.

Токвиль, беспрестанно сравнивавший в уме судьбы французов, англичан и американцев, хранил в глубине души ностальгию по преобразованиям, которые отвечали бы его устремлениям аристократа-либерала: постепенная эволюция свобод-привилегий в направлении демократических прав, наделение всех равными правами, закрепленными законом ( $X$  обладает той же свободой, что и  $Y$  в отношении действия  $A$ , и закон запрещает  $Y$  препятствовать  $X$  в реализации своей свободы). Англия давала приблизительный пример революции, которая «склонила бы, не искореняя», французскую знать под сень закона. Америка представляла собой зрелище завершенной эволюции. Равенство людей перед законом, отсутствие аристократии составляли социальную инфраструктуру: зависимость правящих от управляемых благодаря выборам, защита личных свобод (закон запрещает  $Y$ , будь то индивид или группа, препятствовать  $X$ , будь то индивид или группа, выбирать своего представителя или свое вероисповедание) обеспечили бы всем свободы, привилегии и достоинство феодалов, а именно послушание без раболепия, принятие несвободы в данных действиях, воспринимаемой не как принуждение, а как выражение собственной воли.

Хотя Токвиль никогда строго не определял понятия, которые он охотнее всего использовал, существует знаменитый текст, поддающийся передаче на используемом нами языке. Речь идет о последних строках предисловия к «Старому порядку и революции»:

Сами деспоты не отрицают того, что свобода прекрасна: только желают они ее для себя одних и уверяют, что все остальные люди совершенно недостойны ее.



Следовательно, предмет разногласия заключается не в том, какого мнения надо быть о свободе, а в более или менее высокой оценке людей; и можно с полным правом сказать, что расположение, обнаруживаемое к абсолютному правлению, находится в точном соответствии с презрением, испытываемым к родной стране. Я попрошу позволения повременить еще немного, прежде чем проникнусь сознанием законности этого чувства<sup>95</sup>.

В этом тексте проявляется связь между понятием *свободы* — в отношении к чему-либо и кому-либо — и понятием *власти*. Деспотический порядок — это строй, при котором, в крайнем его проявлении, один человек хочет быть свободным по отношению ко всем и вся. Свободный порядок, каким бы туманным ни было это выражение, включает в себя менее неравное перераспределение власти благодаря сложной системе зависимости правящих от управляемых, а не только управляемых от правящих.

Исторически диалектику свобод-привилегий, связанных со статусами, и гражданских свобод сменяет диалектика внутри самих гражданских свобод. То, что всякий гражданин обладает свободой голосования за того или иного кандидата, то, что исполнитель государственной функции должен уважать установленные правила, или то, что власть разделена между различными органами, зависящими друг от друга, то, что каждый может выражать свои мнения или выбрать религиозное кредо — вся эта совокупность, называемая обычно личными и политическими свободами, не является иллюзией; но она давала и продолжает давать повод для исторической критики, наиболее знаменитым и красноречивым выражением которой является творчество Маркса.

Гражданин, как писал молодой Маркс, должен быть свободен не только в отдаленном и, так сказать, трансцендентном государстве, в котором его существование сравнимо с загробной жизнью спасшейся души; он должен быть свободен в своей повседневной жизни, в своей профессиональной деятельности, в качестве существа,

имеющего потребности и трудящегося. Но что конкретно значит эта *реальная* свобода, противопоставленная формальным свободам буржуа? В действительности различают несколько ее значений. 1) При объеме ресурсов менее необходимого трудящийся не извлекает никакой выгоды из личных или политических свобод, но он не способен их использовать, следовательно, они не имеют для него ценности. 2) Трудящийся, изолированный в своей частной жизни, не способен общаться с миром, тогда как именно в политической жизни гражданин посредством выборов общается с государством. 3) Индивид является заложником разделения труда, неспособным реализовать свой внутренний потенциал. Он навсегда остается увечным существом. 4) В капиталистической экономике царствуют деньги: человек входит в прямой и подлинный контакт с подобным себе, только упразднив отчуждающее посредничество денег. 5) Труд есть и всегда будет сферой необходимого, свобода может расцвести только в условиях досуга: первое требование — сокращение продолжительности рабочего дня.

Ни одно из определений *реальной* свободы, которые можно извлечь из перечисленных положений, не входит в приведенное нами аналитическое определение. Согласно избитому определению реальной свободы, которое подсказывает формулировка Атлантической хартии<sup>96</sup> — *freedom from want* (свобода от нужды), реальная несвобода не обязательно включает зависимость от определенных акторов; действительным источником порабощения становится социальный контекст. Или же еще: реальная свобода, согласно этому определению, тождественна тому, что мы выше называли *способностью* (ability), а не *свободой*. В обществе, где не существует бесплатного школьного образования, рабочий, не имеющий достаточно средств на обучение ребенка в школе, не является, тем не менее, *несвободным* дать ему образование — у него нет на это средств, он на это неспособен.

Совершенно не имеет смысла обсуждать, стоит ли употреблять одно и то же слово для определения не-свободы в отношении определенного актора и не-способности как

следствия нехватки средств. Исторически значащим, хотя и противоречащим словарной точности, оказывается смешение, *характерное для нашей эпохи*, не-свободы и не-способности. Сползание от одной к другой объясняется прежде всего логикой равенства, а затем *прометеевской гордыней*. Социальное или политическое равенство никоим образом не имеет следствием экономическое равенство, но требует таких учреждений, благодаря которым индивиды располагали бы доходами, которые позволяют не чувствовать себя исключенными из общества по причине своей нищеты или невежества. Но эта логика равенства не была бы так легко принята, не убедись современные общества, сознающие свою производственную мощь, в том, что свобода всех и каждого может быть гарантирована благодаря технике и организации.

Впрочем, свобода-способность, которую социальные законы или перераспределение доходов предоставляют большинству граждан в развитых обществах, не вошла в противоречие с личными и политическими свободами, конкретно выраженными в аналитическом определении, приведенном выше. Общества, которые мы окрестили либерально-демократическими, хотя до конца и не примирили между собой политические права, т. е. свободы, с социальными правами, т. е. способностями, указывают путь, в конце которого это примирение вырисовывается.

Разумеется, эта свобода-способность не дает человеку возможности, о которой мечтал молодой Маркс в «Немецкой идеологии», быть в один и тот же день охотником, рыбаком и писателем; она не устраняет посредничества денег; она не избавляет трудящихся от дисциплины труда. Тем не менее, синтез частного и общего в гражданском обществе не остался только утопией, но, реализуясь, он ограничил свободы каждого под предлогом осуществления наивысшей свободы-могущества всех.

Изолированность трудящегося в своей частной жизни имела, как считал Маркс, две причины: частную

собственность на орудия производства, механизмы (или анархию) рынка. Однако упразднение первой причины не устраняет ни разделения труда, ни дисциплины труда. Ликвидация рынка не уничтожила тем более посредничества денег. Более того, авторитарное планирование в том виде, в котором оно практиковалось в Советском Союзе, не оставило индивидам сферы автономии ни по отношению к другим людям, ни ко всему обществу в целом — сферы, которую сохраняют буржуазные свободы, хотя зависимости или социального порабощения, против которых выступал Маркс, этим так и не удалось преодолеть. И здесь появляется третий смысл свободы, радикально отличающийся от аналитического ее смысла, а именно свободы самого сообщества по отношению к другому, человеческому или природному. Свобода народов может быть по аналогии выведена из личной свободы. Я свободен, если  $Y$  не мешает мне делать то или это и меня не наказывают, каков бы ни был мой выбор; точно так же народ — коллективная личность — не хочет зависимости от государства, рассматриваемое как чужак. Но если «свобода алжирского народа» может быть в крайнем случае подведена под аналитическое определение концепции свободы, то свобода строить коммунистическое общество или поднять темпы экономического роста с 7 до 8% в год есть аналогичная трансполяция общего на уровень свободы-способности. Конечно, коммунисты претендуют лишь на роль агентов исторической необходимости, в то же время и авторитарные планификаторы в обществах, не объявляющих себя марксистско-ленинскими, признают свою прометеевскую гордыню. Но и в том, и в другом случае свободно сообщество, а не индивид, сообщество хочет быть способным действовать, творить, организовывать.

Желая придерживаться правильного значения слов, лучше не использовать одно и то же слово для обозначения свобод, понимаемых как непрепятствование со стороны других и отсутствие угрозы санкций; *свобод-способностей*, к которым стремятся люди; *созидательной свободы-могущества сообщества*, другими словами, не

использовать одно и то же слово для свобод либералов, для свобод социалистов или сторонников *Welfare State* и для свобод планификаторов, полагающих, что свобода — это осознание необходимости или безнадежность ускорить экономический рост методами, отличными от таковых при иерархическом и тоталитарном режиме. Подобный режим обеспечивает нескольким лицам неконтролируемую власть над миллионами в областях, которые постоянно расширяются. Предполагается, что чувство участия в этом коллективном могуществе должно дать большинству какой-то суррогат чувства свободы.

Бесспорно, свобода планификаторов, т. е. могущество немногих — это полное отрицание свободы либералов. Планификатор заявляет в свое оправдание, что только принуждение позволит обеспечить экономический рост, благодаря которому сперва появятся свободы-способности, а затем и свободы либералов. Было бы печально смешивать эти значения, но, возможно, небесполезно рассмотреть, с помощью каких исторических, если не логических, демаршей данные значения сближаются друг с другом.

\* \* \*

Все партии на Западе притязают на слово «свобода», в то же время советский мир оспаривает ее наличие на Западе. Позволяет ли ссылка на аналитическое определение разрешить спор? И свидетельствует ли он о радикальном расхождении между ценностями или их иерархией?

Согласно принятому нами аналитическому определению, ни один член общества не является полностью свободным от всех других (за исключением абсолютного тирана, если следовать идеальной гипотезе) и никогда индивид не лишен полностью свободы, т. е. не может делать что бы то ни было, ибо ему препятствуют другие или угрожают санкциями. Из этого, однако, не следует, что при сравнении обществ нужно отказываться от критерия свободы, и что само понятие свободного общества лишено смысла, хотя во всяком обществе есть более и менее свободные индивиды.

Первый вариант разрешения возникшей сложности нам подсказывает совмещение понятия, характерного для классических философов, и логического следствия нейтрального и объективного определения свободы. Монтескье писал, что безопасность — первая форма свободы. Однако если  $X$  свободен совершать поступок  $a$ , если в этом ему никто и ничто не препятствует, то он может познать эту свободу и наслаждаться ею только при условии осведомленности об угрозах санкций, нависших у него над головой. Иначе говоря, точное формулирование с помощью законов границ разрешенного и запрещенного есть необходимое условие предупреждения того, что когда-то называли произволом и что является утратой свободы. Глашатаи марксизма-ленинизма могут утверждать, что советским гражданам безразличны так называемые свободные выборы, т. е. свобода выбирать между двумя или более кандидатами, но что они безразличны к нарушению «социалистической законности», к насилию полиции или к чисткам.

За критерий, признаваемый всеми участниками идеологического спора нашего времени (хотя он не является единственным), возьмем то, что *общество предоставляет своим членам тем больше свободы, чем меньше они рискуют быть наказанными за действия, не расцениваемые ими как противоречащие законам или действительно незапрещенные.*

Перейдем от проблемы безопасности к тому, что мы прежде называли основными правами — правами субъективными, приравнивавшимися к основным свободам, на которые не должно посягать государство; свободным признавалось общество, соблюдающее эти права. Сегодня мы затруднились бы перечислить эти основные права, потому что два из них — право на собственность и право на объединение — несовместимы с общественной организацией советского типа, и сторонники последней заявили бы, что такие права — свобода только для немногих в ущерб остальным.

Прежде чем рассмотреть эти два права, традиционно признаваемые на Западе и отрицаемые по другую сто-

рону «железного занавеса», примем к сведению, что доктринеры марксизма-ленинизма не отрицают полностью так называемых *интеллектуальных свобод*. Выражение это не точное, а скорее описательное. В западном обществе у меня нет права говорить или писать что угодно, оскорблять моего соседа или подстрекать к мятежу, хотя границы интеллектуальных свобод точно не определены, хотя разница между ересью и заговором ясна скорее в теории, чем на практике. Но в таком обществе мы не сомневаемся в своей свободе выражать то или иное мнение (нам в этом не мешают другие, государство им запретило бы это делать) — об абстрактной живописи, о марксизме или кейнсианстве, о республиканцах или демократах, о великих замыслах генерала де Голля или президента Кеннеди. Сторонники советского строя, каково бы ни было принимаемое ими определение свободы, не скажут (разве что с глазу на глаз), что запрещение абстрактной живописи или художественного формализма благоприятствует свободе художников. Они предпочли бы утверждать, что свобода последних не является высшей ценностью. По крайней мере, пока руководящая роль партии необходима для социалистического строительства. Они предпочтут отсрочить на будущее, на день окончательного построения коммунистического общества необходимое, по их доктрине, примирение человека, достигшего коммунистического идеала, с обществом, смоделированным по тому же образцу. Прометеевская гордыня поставлена выше личных свобод.

Аргументация и по поводу права на объединение — аналогична. В западном обществе люди свободны группироваться (им не мешают ни другие люди, ни угроза санкций) с различными целями — спортивной деятельности, поклонения кумиру, ядерного разоружения, завоевания политической власти на местном или национальном уровнях. Члены советского общества мало когда свободны учреждать добровольные объединения. Может быть, они и не воспринимают эту несвободу как тягостное лишение. Осознание несвободы зависит от устремлений каждого человека, от того, что он считает

нормальным, законным, необходимым. Однако речь идет об объективно определенных свободах; и если некоторые ими пользуются, то не в ущерб остальным. Лишение права на объединение есть результат монополии партии, почти безграничного распространения ее власти. Очевидно, ее глашатаи предпочтут говорить не о том, что тотальная власть партии смешивается, по определению, с личными свободами, а о том, что партия есть строитель коммунизма и что по завершении этого строительства она за ненадобностью исчезнет. Сама партия может быть свободной, ибо она выполняет приказы исторической необходимости, люди принуждаемы, при том что принуждение ни в коей мере не приравнивается доктринами к свободе. Это не значит, что у данного слова два значения — одно здесь, другое там; нет, но принуждение оправдывают перспективой финального примирения. Прометеевская гордыня толкает к созданию нового человека, а не только общества.

Совсем иной является аргументация по поводу права собственности. Она исходит не из социалистического строительства и не из требований финального примирения, а из присущего этому так называемому праву конфликтного характера. Навсегда исключено то, что все будут владеть орудиями производства. Право некоторых на обладание ими означает для большинства других подчинение воле этих некоторых. Действительно, право обсуждения может быть общим: никто не лишается его оттого, что я им обладаю. И хотя свобода на приобретение средств производства тоже может быть предоставлена всем, воспользоваться ею эффективно все никогда не смогут. Эта свобода — право, которым пользуются только некоторые, для многих же она оборачивается несвободой. Государство, законы вмешиваются в отношения людей, чтобы гарантировать права собственников, чтобы закрепить власть *X* собственника над его служащими, а значит, несвободу этих последних по отношению к *X* в том, что касается тех или иных их действий.

Одновременно мы обнаруживаем диалектику, внутренне присущую свободе и власти-могуществу. Экономическая



активность в современных обществах есть в области, где большая часть людей несвободна, — в производстве, и в другой области, где все люди могут быть свободны, — в распоряжении своими денежными доходами. Если за модель экономической активности принять активность потребителя, то свобода, точнее свобода выбора, покажется ее основной характеристикой. А если взять за образец обширную производственную сферу, то только некоторые — предприниматели — покажутся независимыми. В сфере между производством и потреблением независимыми и не подчиненными иерархии выглядят также коммерсанты, но они часто зависят от неизвестных и непреодолимых сил. Либералы школы Ф. А. Хайека берут за образец свободы свободу предпринимателя, который выбирает свои цели и комбинирует средства; затем они стараются сделать достижимой для всех свободу такого рода, противопоставляя два типа поведения: поведение человека, повинующегося точному и конкретному приказу (т. е. принуждаемого человека), и поведение того, кто сохраняет инициативу и имеет достаточную автономию в рамках общих указаний. Но на деле это разграничение не позволяет отличить свободу от принуждения, ни в теории, ни на практике. Простая истина заключается в том, что свобода — выбор потребителя не имеет эквивалента в деятельности большей части производителей и что эти последние чаще всего несвободны, хотя необязательно принуждаемы (в обычном значении слова) и не чувствуют себя таковыми. Не находя места для свободы в рамках организации — будь эта свобода независимостью или возможностью выбора, — социологи отказываются, и чаще всего справедливо, использовать рассматриваемый концепт при анализе положения трудящихся на предприятии. Когда свобода одного автоматически влечет за собой зависимость другого: предприниматель нанимает и увольняет, комбинируя средства производства, определяет производственные планы, когда свобода становится приказом одного и повиновением другого, — тогда проблема свободы не отделяется больше от проблемы власти, и каждый в точном соответствии со

своей точкой зрения ссылается на ту свободу, которую кто-то другой или государство подвергает опасности.

Во второй лекции мы как раз и пытались проиллюстрировать диалектику власти и свободы. Профсоюз помогает рабочим добиться определенных свобод, обязывая предпринимателей дискутировать с ними, идет ли речь о зарплате или об условиях труда. Но тот же профсоюз, однажды получивший право контролировать вопросы найма, отнимает иногда у частного труженика свободу вступления в союз, препятствует найму не примкнувшего к профсоюзу.

Эта диалектика не позволяет нам принять ни одну из догматических теорий свободы, будь то догматизм демократический или либеральный. Согласно первому, свобода определяется и поддерживается уважением законных процедур, в рамках которых должна выражаться народная воля, т. е. фактически речь идет о воле большинства. Если оно требует мер, которые меньшинство считает несправедливыми или угнетающими, то последнее может протестовать в надежде, что большинство — когда оно окажется более осведомленным — изменит свое решение. Но если демократическая норма есть фундамент и сущность свободы, то демократу придется согласиться с парадоксом — необходимостью терпеть угнетение во имя свободы.

Догматизм либерального толка противостоит догматизму демократическому. Если последний делает акцент на способе назначения правящих и на способе осуществления правления, то первый — на целях, которые должна преследовать власть, и на границах, которые она должна соблюдать. Но во всех сферах, будь то социальное равенство, распределение доходов, влияние на публичные дела, невозможно рассматривать одну инстанцию как освободительную, а другую как угнетающую. В зависимости от обстоятельств индивид будет чувствовать себя обязанным за вполне определенные свободы той или другой группировке, своим собственным правам, силе своего профсоюза или партии.

В США борьба федерального государства против южных штатов воспринималось чернокожими американцами как освобождение. Они в самом деле обязаны этому государству определенными свободами (например, свободой голосования или свободой посещать некоторые заведения). Административная централизация сама по себе не разрушает свободу, а лишь заменяет одну зависимость другой; замена общественной собственности частной не дает трудящимся никакой дополнительной свободы, самое большее — порождает некое чувство свободы, если они связывали свои несчастья с частной собственностью или с действиями прежних собственников.

То, что в экономической и политической сферах диалектика свободы и властной силы больше не позволяет придерживаться ни того, ни другого догматизма, еще не означает, что выражение «свободное общество» лишено смысла. Те формы правления, которые мы именуем либерально-демократическими, определяют себя через приятие данной диалектики, т. е. признают, что *нет универсальной, притом единственной формулы свободы par excellence*. Плюрализм группировок и партий, поддержание демократических процедур препятствуют тому, чтобы несколько человек на вершине единой организационной иерархии становились почти всемогущими, чтобы сфера независимости, отведенная для большинства, была сведена к минимуму и чтобы множество оказалось неспособным ограничить свободы лиц, находящихся у власти. Сегодня, как и вчера, условиями свободного общества являются существование таких видов деятельности, в которых каждый зависит только от самого себя, и распределение власти таким образом, что она не принадлежит целиком нескольким людям. То есть это общество, где множество людей обладают кое-какими свободами, но никто не имеет тотальной свободы всемогущества.

Отказ от двойного догматизма — демократического и либерального — не является своего рода эклектикой или выражением идеологической робости. Социологическое описание подтверждается формальным анализом. Если

нет человека, которого можно назвать полностью свободным или полностью несвободным, то общество может быть определено как более или менее свободное в силу двух традиционных критериев: ограничение власти правящих и независимость большого числа индивидов в определенных видах деятельности. Но если пользоваться только одним критерием, т. е. одним исключительным определением свободы, то мы придем либо к парадоксу угнетения, признаваемому легитимным во имя демократической процедуры, либо к парадоксу освобождения, утверждающего угнетение, потому что сравнивать свободы, теряемые одними, со свободами, приобретаемые другими, запрещается.

\* \* \*

Сегодня под наибольшей угрозой находятся свободы, отстаиваемые либералами. Для индустриального общества типичными считаются два вида свобод — свободы-способности и свобода партии, государства или человечества как прометеевское средство господства над природой и обществом. Главная угроза в наш век — это угроза тоталитаризма, формы правления, при которой монополистическая, т. е. партийная, организация стремится подчинить своей власти всех и вся, отказывая при этом любой другой организации в праве на существование. Техническое общество необходимо обладает некоторыми чертами, которые прежде называли бы коллективистскими. Индивиды должны объединяться, чтобы действовать, группы же — как в экономической конкуренции, так и в политической борьбе — противостоят друг другу, ведут переговоры и, наконец, достигают компромисса. Более того, ответственность государства за обеспечение полной занятости и экономического роста теперь официально провозглашена и принята даже в странах с так называемым капиталистическим строем; в то же время социальные права и свободы-способности смешались с основными свободами, что не отвечает строго словарному понятию, но соответствует социальной логике. В результате некоторые умы стали опасать-

ся одних крайностей прометеевской гордыни, забывая, что таковые происходят чаще всего от человеческого нетерпения и считающегося невыносимым разрыва между целями, которые ставят себе современные общества, и результатами в их достижении.

Об опасности обесценивания так называемых формальных свобод, о возможности подавления всех свобод под предлогом создания целиком социального порядка, требуемого нашим идеалом или законом истории, неустанно будут напоминать основатели американской конституции и вечная ценность плюрализма, благодаря которому власть останавливает власть. Правящие зависят от управляемых во время выборов, я зависю от финансового инспектора в уплате налогов, но этот последний зависит от законодателей, которые частично зависят от меня, а я и они в случае спора зависю от судей. Идя наперекор модным тенденциям, я сказал бы, что чем больше «реальные свободы» кажутся — справедливо или нет — органической частью свободы, тем важнее подчеркнуть, что так называемые формальные свободы, личные или политические, отнюдь не являются иллюзорными; они дают незаменимые гарантии против прометеевского нетерпения или тоталитарных амбиций.

Но защита тех свобод, которые марксисты-ленинисты называют формальными, была бы делом напрасным, если бы она не принимала в расчет тот новый контекст, в котором эти свободы находятся, а также то вдохновение, которое первоначально и постоянно рождают либерально-демократические требования. Нарекают или нет социальные права свободами, справедливо или не справедливо составители Атлантической хартии поставили *freedom from want* (свободу от нужды) в один ряд с *freedom of religious worship* (свободой вероисповедания) — все это важно для философско-лингвистического анализа. Во всяком случае, общественное мнение продолжает спонтанно ассимилировать подчинение человека безличным силам и подчинение его другим людям. Мы все стали марксистами в одном смысле: люди ответственны за обстоятельства и должны изменять их в той мере, в какой

эти последние лишают некоторых индивидов средств, необходимых для достойной жизни. Нужна критика тех непомерных амбиций, которые порождают тоталитарные режимы. Но в не меньшей степени требуется осознание закона, которому сегодня подчиняются все экономические и политические порядки, — закона эффективности. Западные, либерально-демократические системы вновь обрели живучесть и веру в себя именно потому, что они доказывают свою способность примирить ограничение ветвей власти и производительность труда. Лучшая защита и прославление формальных свобод в наше время — это показ на практике того, что они могут быть совместимы с экономической рентабельностью.

Несовершенство этих систем, атаки, производимые на них экстремистами то от либерализма, то от социализма, — все это не должно ни изумлять, ни раздражать. Наоборот, это служит реальным доказательством диалектики взаимодействия власти и свобод. Профсоюз постепенно или сразу ограничивает власть предпринимателя или неассоциированного рабочего. Он освобождает одних и принуждает других. Либералы будут оправдывать или осуждать эти действия в зависимости от конъюнктуры.

Обладает ли большими или меньшими свободами человек индустриального общества по сравнению с человеком традиционного общества? Возможно, вопрос лишен смысла, столь различны эти общества и столь несравнимы объективно определенные свободы. Если говорить о свободах-способностях, то очевидно, что сегодняшний человек располагает большим объемом ресурсов, идет ли речь о возможности сменить место работы и жительства, дать образование своим детям, продвинуться по служебной лестнице или определить свой досуг. С другой стороны, человек по-прежнему встроен в производственную систему, включен в сеть обязательств, является узником коллективной рациональности.

Таким образом, мы возвращаемся к началу нашего исследования, к смыслу свобод, которые нам так дороги. Свободы в нейтральном и аналитическом смысле,

в котором мы это слово используем, не представляют собой высшей ценности. Выступая против тоталитарных режимов, следует сегодня вспомнить древнюю мудрость: абсолютная власть развращает абсолютно; свободы нет, если нет сферы, где каждый сам себе хозяин и сам себе советчик. Сверх того, если перейти от социологического анализа к философской рефлексии, социально-политические свободы кажутся прежде всего необходимым средством для реализации наивысших ценностей.

Интеллектуальные свободы, демократические процедуры дают защиту против власти и произвола, но они также — и прежде всего — дают возможность просвещать людей, делать их способными к здравомыслию и нравственности. Токвиль был привержен политической свободе, ибо он ненавидел раболепие, навязывающее подчинение презираемому меньшинству. Нелегитимная власть, которую навязывают путем насилия, унижает тех, кто не может от нее избавиться, но не хочет ее уважать. Таким образом, политическая свобода помогает сделать людей достойными ее, стать не конформистами или мятежниками, а критичными и ответственными гражданами.

Марксисты-ленинисты похваляются тем, что создают нового человека, приспособленного к коммунистическому обществу их мечты. Однако люди западного мира тоже хотят создать (хотя и не всегда помнят об этом) определенный тип человека — не нового, потому что здесь не верят в возможность изменить его глубинную природу, а оживляющего и совершенствующего институты — свободного от общества, законы которого он уважает и недостатки которого обличает, свободного, поскольку он требует и получает право искать (если надо — в одиночку) свою истину и свое спасение.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я не слишком люблю перечитывать свои тексты; переиздание этой, написанной по случаю книжки заставляет меня это сделать и принуждает написать послесловие, которое носит характер комментария и одновременно критики.

Читатель, конечно, не удивится, что начну я послесловие с принципиального утверждения: способ постановки проблемы свобод остается для меня сегодня тем же, что и вчера. Ни первая глава, ни заключение не требуют ни замечаний, ни поправок. Однако фактический материал, который я использовал во второй и в третьей главах, во многом устарел. В данном послесловии я не стану вдаваться в детали и буду держаться только того, что представляет суть моего исследования — плюрализма свобод и смысла политической свободы в техническом обществе, в котором индивид все более определяет самого себя скорее как производителя или потребителя, чем как гражданина.

\* \* \*

Если оставить в стороне философский или метафизический смысл свободы, то ее можно аналитически определить как гарантию того, что каждый из нас может делать (или не делать) нечто без помех со стороны другого, воспреещающего это делать или заставляющего делать нечто иное. Под это определение подводятся свобода слова, свобода вероисповедания, короче говоря, личные свободы. Правда, это предполагает наличие запретов или законов: чтобы А не препятствовал В ходить в церковь по воскресеньям, нужно, чтобы закон запрещал осуществлять такого рода принуждение. Чтобы верующий был свободен исповедовать свою веру, нужно, чтобы закон запрещал частным лицам или полиции физически или угрозой санкций препятствовать отправлению культа. Популярная в 1968 г. формула «запрещено запрещать»



представляет собой не только логическое противоречие: запрет на запрет равноценен совершению именно того акта, который был осужден. Мы имеем дело с психологической или социальной бессмыслицей, согласно которой предоставленные самим себе люди жили бы в полном согласии без Бога и без правителя, без закона и без полицейского.

Серьезное замечание по поводу высказанного в книге может прийти совсем с другой стороны: есть риск, что позитивное или негативное принуждение может осуществляться не государством или законом, не какими-то предназначенными для этого людьми, но неуловимым вездесущим монстром, которого называют то общественным мнением, то социальной средой. Крупный адвокат из Квебека рассказывал мне лет десять назад, что во времена его молодости тот, кто не посещал церковь по воскресеньям, исключался из сообщества, помещался в своего рода карантин. Общественное мнение было столь же нетерпимым к матери-одиночке, к гомосексуалисту; даже сегодня, при равных условиях найма на работу, женщины часто получают меньшую зарплату, их практически не берут на некоторые должности, вопреки запрещающему дискриминацию закону.

Два последних примера указывают на два важных момента: отсутствие свободы делать или не делать нечто зачастую определяется не законами, а предрассудками (если воспользоваться любимым выражением интеллектуалов) или вообще той совокупностью моральных убеждений, которые разделяются большинством членов данного общества. Маргиналы, диссиденты подвергаются санкциям, которые во все времена применялись к лицам, поставленным вне закона, будь этот закон писанным или неписанным, моральным или социальным. Право женщин на прерывание беременности было узаконено совсем недавно в результате эволюции нравов или ценностей. Женщина может и должна свободно располагать своим телом; следовательно, физическая любовь вне брака не должна вменяться в вину, как и отказ от нежеланного ребенка.

Бесспорно, социальные санкции ограничивают свободу действия, равно как и санкции, предусмотренные законом. Но разве возможно чудесное исчезновение всех и всяческих санкций? К странностям поведения, к сексуальным аномалиям мы снисходительны или безразличны лишь тогда, когда они считаются чем-то исключительно личным, не нуждающимся в оценке посторонних. Судя по всему, нет такого общества, которое не добавляло бы к запретам закона запреты хорошего тона, приличий, нравственности (в благородном смысле этого слова). Требование свободы от незаконных запретов относится к тому, что я называю диалектикой свобод. Люди преодолевают социальные принуждения по мере их осознания. Гомосексуализм не преследуется законом; священники благословляют гомосексуальные браки; педерасты контролируются законами и государством лишь в тех случаях, когда они подстрекают несовершеннолетних к развратным действиям.

Защитники этой разновидности свободы — в очень широком значении его можно назвать свободой нравов — находятся скорее слева, чем справа. На деле такая защита пленяет иных левых во Франции, скорее социалистов, чем коммунистов, скорее крупную буржуазию, нежели мелкую. Настоящие революционеры чаще склоняются к своего рода ригоризму; Жорж Марше сегодня разоблачает порнографию. Писатели, которые хвалятся своим гомосексуализмом по телевидению, вызывают негодование у своих деревенских земляков. В книге 1965 г. издания я не касался темы, занимавшей столь важное место в кризисные 60-е гг., — темы сексуального освобождения и освобождения женщины. Я ограничусь в своем послесловии на несколько страниц замечаниями на эту тему придерживаясь исключительно здравого смысла.

В области нравов терпимость весьма различается в зависимости от принадлежности к тем или иным социальным классам. Цинизм привилегированных слоев проявляется или афишируется сегодня с большей откровенностью, чем в Викторианскую эпоху. Было бы ошибкой делать из этого вывод, что Движение за освобождение женщин целиком

и полностью определяет будущее. Чтобы выживать, общества должны воспроизводиться. Если наблюдаемое в последние годы снижение рождаемости будет продолжаться или даже обострится, то западные общества скорее всего негативно среагируют на десятилетие бунта или нравственную анархию, если, конечно, они не хотят погибнуть.

В книге, хотя и в неявной форме, проводился анализ той ситуации, при которой женщину не допускают к некоторым видам работ. Действительно, я отличаю *liberty from* от *liberty to* или, иначе говоря, свободу — отсутствие запрета и действительную свободу-способность; такое разделение приблизительно воспроизводит разделение политических и социальных прав. В формальном смысле я свободен лечиться тогда, когда никто — ни государство, ни другой человек — не может физически или угрозой санкций помешать моей консультации с врачом или моему обращению к хирургу. Но может ли бедняк, лишенный средств для уплаты врачу или хирургу, рассматриваться как человек, обладающей свободой лечиться?

Каждый сам выбирает значение слов, им используемых. Однако часто от внимания ускользает то значение, которое большинство людей в данную эпоху и в определенной среде придает тому или другому слову. Так, на Западе в конце двадцатого века мы, вопреки всем лингвистическим пуристам, не проводим радикального различия между свободой — отсутствием запрета и свободой — отсутствием препятствия или между свободой — субъективным правом и свободой — действительной способностью. В этом решающем пункте две первые главы этой книги кажутся мне столь же значимыми сейчас, как и 12 лет назад.

Если бы я писал их в 1977 г., то делал бы ударение на иных следствиях этой диалектики. В 1965 г. мне было важно показать, что современный либерал воспринимает критику, называясь она марксистской или социологической. Утверждения законом каких-либо прав недостаточно, нужно еще, чтобы человек обладал средствами их реализации. Сегодня я обратил бы внимание на другую сторону этого тезиса. Насколько свобода — отсутствие

запрета влечет за собой равенство, настолько свобода — способность равенство исключает. Право на отпуск ныне выражается в оплате нерабочих дней. Однако способность отдыхать, конечно, варьируется в зависимости от доходов каждого, не говоря уже о неравной продолжительности отпуска на различных предприятиях или в разных секторах экономики. С другой стороны, в сегодняшних трудах о правах и свободах видна склонность не различать свободы, связанные с фундаментальным правом, и свободы, проистекающие из социальных условий, будь они даже самыми благоприятными.

Откроем, например, книжку «Свобода. Свободы», опубликованную группой социалистов под руководством Р. Бадинтера<sup>97</sup>. На странице 83 читаем следующую фразу: «Труд каждого должен быть полностью вознагражден с учетом его усилий и его квалификации». Наивная фраза, лишенная точного смысла: «полное вознаграждение» не исключает неравенства, зависящего от «усилий и квалификации». Пока формула не уточнена, ничего не сказано. Да и сказать-то тут нечего: иерархия зарплат не подчиняется внеисторическим законам и одним лишь требованиям справедливости, как ее толкуют юристы. Если существует свободный рынок труда, на жалование каждого будут влиять дефицит или изобилие.

Несколькими строками ниже читаем: «Всякий рабочий, достигший пенсионного возраста, имеет право на часть национального дохода, почти равную его предыдущему заработку». На сей раз фраза имеет какой-то смысл, но если присвоить пенсионеру право на часть национального дохода, сопоставимую с его предыдущим заработком, то неизбежно сократится часть национального дохода, вознаграждающая труд тех, кто продолжает работать. Подобные социальные права, касающиеся работы, заработной платы или пенсии, зависят от многочисленных обстоятельств, общественных ресурсов, экономических механизмов. Их можно выразить лишь в туманных определениях вроде «полного вознаграждения», которые всегда верны, поскольку приводятся без уточнения того, что под этим подразумевается.

Аналогичные замечания можно высказать по поводу главы «Освободить город». Авторы текста охотно употребляют глагол «освободить», полагая, что проблема относится к проблеме свобод. Но город, в отличие от человеческих существ, не выбирает и не действует. Одно и то же слово относится, и это совершенно ясно, к разным реальностям. «Требовать для горожанина *права на город* — значит стремиться к урбанизму, освобожденному от того, чем он был на протяжении веков, — урбанизмом престижа, выгоды и чаще всего нищеты. Чтобы обеспечить встречу города и человека, надо для начала признать «*право на жилище*». Однако право на город, право на жилье лишь по видимости подобны праву на здоровье или праву на образование.

Социальное страхование и бесплатные школы на деле дают всем возможность пользоваться правами на медицинское обслуживание и образование, являющимися более или менее совершенными. Напротив, если мы не поселим всех в казармы или в принадлежащие государству строения, то право на жилье может означать только две вещи: каждый обладает доходами, достаточными, чтобы снимать или покупать жилье; число построенных жилищ позволяет удовлетворить запросы всех. Добавим мимоходом, что половина или почти половина сегодняшних французских семей проживают в жилищах, являющихся их частной собственностью.

Сочинители этого текста вновь приравнивают желаемые условия к фундаментальным человеческим правам. Кто не хотел бы «наслаждаться простором, тишиной и светом, необходимыми нам для собственного процветания?» Изложение всех желаний человека с помощью языка прав и свобод ведет лишь к словесным играм и ложным аналогиям.

В то же время в этой брошюре затрагивается один из возможных путей развития свобод, впрочем, безо всякого понимания тех трудностей, и даже противоречий, возникающих при решении подобных проблем. В наших демократических обществах некоторые учреждения сохраняют авторитарный статус и авторитарную структуру:

отдающие приказы поименованы, избраны или назначены безотносительно желания тех, кто подчиняется; способ осуществления власти почти не подлежит обжалованию со стороны подчиненных. Разумеется, я имею в виду армию, а также предприятия, т. е. две важнейшие организации любого общества, объединяющие людей, которые воюют и трудятся. О. Конт сравнивал индустриальный порядок с военным, чтобы доказать превосходство первого, в основном кооперативного, над вторым, по сути иерархическим.

Вопрос о правах или свободах солдат ставится потому, что они сами его задают. Кто не мечтал дать нации демократичную и действенную армию? Достаточно ли для достижения этой цели того, чтобы «и солдатам, и кадрам позволить вступать в профсоюзные и политические организации по их выбору»? Признавать ли за ними «полную свободу на информацию, включая радиоинформацию, т. е. право солдат читать в казармах любые газеты и книги по их выбору»? Я не сомневаюсь в том, что военная дисциплина, вышедшая из древней традиции, созданная в эпоху, когда офицеры чаще всего принадлежали к знати, а солдаты — к низшим слоям общества, могла бы несколько изменить свой стиль (она и не перестает это делать). Однако и наивно, и недобросовестно внушать ту мысль, что в армии можно безнаказанно вводить практику дебатов по любому поводу, характерную для современных обществ.

Во Франции, где партии и профсоюзы противостоят друг другу по сути, «ассоциации», созданные для защиты материальных и моральных интересов солдат и кадров, представительные общества, объединяющие «призывников и руководящий состав», лишь чудом могли бы избежать идеологических конфликтов и соперничества за «представительство». В мирное время армия кажется не столь отличной от других институтов, и поэтому ее критикуют за «тоталитарность». Поэтому армии демократических стран — если они вообще не состоят исключительно из профессионалов — меняют свой характер. Призывник выходит из казармы, как с завода, чтобы

вновь стать штатским и гражданином. Но армия мирного времени существует лишь с учетом возможности войны. На поле боя начальник посылает на смерть солдат, он готовит их к жестокости военных действий. Как применять на войне требования профсоюзов по поводу «достойных условий жизни»?

Хотя в случае предприятия многое отличается от армии, само предприятие, выражаясь словами Маркса, ничуть не меньше относится к сфере необходимости. Уже введение «либеральной демократии» на предприятии кажется утопией или по крайней мере весьма отдаленной целью. Однако далее (с. 89) мы читаем: «Собственность не может давать частным лицам власть над людьми. На работе, в том числе и на предприятии, человек остается свободным. Господствующий там порядок может основываться лишь на согласии». А несколькими строками ниже: «Работодатель никогда не может быть единственным судьей, принимающим решения относительно того, что сказывается на трудящихся». Разве покупка, продажа или инвестиции не сказываются на трудящихся? Если принять этот запрет буквально, то для нанимателя это означает паралич «свободы предпринимательства», которую составители этой брошюры с бессознательной недобросовестностью реформаторов тут же утверждают, желая казаться благосклонными и к национализации главных средств производства, и к праву собственности.

Они словно не понимают того, что право одного ограничивает право другого, когда речь идет об отношениях между лицами. Право вето у работников на решения нанимателей ограничивает права последних по определению. Права субъектов и их свободы в таком случае не различаются. Свобода предпринимательства заключается в возможности мобилизовать людей и материальные средства. Восстановить свободу предпринимателя, провозглашая и расширяя в то же самое время права работников оспаривать эту свободу, — вот еще один пример демагогии.

Вывод их этих кратких замечаний таков: в подобных дебатах свободы делаются безграничными, а тем самым

утрачивают свой специфический характер. Любое принуждение, будь оно экономическим или социальным, необходимым для поддержания общественного порядка, становится покушением на свободы. Когда реформаторы желают «демократизировать» армию или предприятие (цель законная, но теряющаяся за историческим горизонтом, если вообще осуществимая), то они не проводят различия между свободой и равенством, между запретами социальной среды и запретами закона, между желательным и возможным, между свободами одних и свободами других. Из двух разновидностей критики либерально-демократического синтеза, о которых речь идет в конце второй главы (социалистическая критика и критика «вигов»), первая больше, чем когда-либо, выразительна и популярна; именно она чаще всего убеждает большинство. Хотя не повсюду, особенно не в США.

Современные индустриальные общества при любом политическом порядке оставляют на обочине свои жертвы — стариков, которых инфляция лишила их сбережений, крестьян, согнанных с земли техническим прогрессом, различные меньшинства, неспособные выдерживать конкуренцию. В США эти меньшинства — черное, испанское, пуэрториканское — с трудом преодолевают многочисленные препятствия, изначально их поджидающие. Число «бедных» в том смысле, который вкладывает в это понятие Д. Харрингтон и специалисты по статистике, кажется, не уменьшилось со времен первого издания книги "The other America". Деградация городов, в частности центральных кварталов, покидаемых буржуазией по мере того, как туда заселяются низшие классы, создает, так сказать, пространство разделения социальных классов, постоянное воспроизводство «островов бедности» в самом богатом (на бумаге) обществе мира.

\* \* \*

Высказанные в третьей главе суждения, мне кажется, в наибольшей степени связаны с преходящими обстоятельствами. События последних лет превосходным образом показали, что американская Конституция,



провозглашающая царство закона, вовсе не является неким лицемерным и не имеющим большого значения идеологическим пережитком, но может превратиться в историческую силу. Понадобился такой человек, как Ричард Никсон, чтобы верховенство законов над людьми вызвало драматический кризис и отставку президента. При всей исключительности этот эпизод сохраняет свое значение и свою важность. По крайней мере по ту сторону Атлантики политическая свобода в различных ее аспектах — та, что была задумана и реализована отцами-основателями — остается на вершине ценностей. Она совпадает с Конституцией, которая, в свою очередь, совпадает с американской нацией, рожденной благодаря договору и сохраняющейся благодаря всеобщему почитанию этого договора. Иммигранты, выходцы из различных этносов, становятся гражданами США, поклявшись на Конституции. Во Франции человек является французом до того, как стать гражданином нашей республики; в США человек сначала является гражданином, или лучше сказать, что он принадлежит США только благодаря своему гражданству, принятию Конституции.

И наоборот, политическая свобода во Франции и в Великобритании вызывает иного рода беспокойства, чем в начале 60-х гг. Реакция на начальный период голлизма — по одну сторону Ла-Манша, отсутствие серьезных дискуссий между партиями — по другую его сторону; тогда вопрос стоял о пользе партийного представительства, о способности партий выполнять ту функцию, которую приписывали им теоретики от политики, именуемую по-английски *articulation of interests*, а по-французски — *синтетическим выражением секторальных интересов*. Сегодня, в 1976 г., задаются совершенно другим вопросом.

Экономика Великобритании, в которой ВВП на душу населения 25 лет назад был самым высоким во всей Западной Европе<sup>98</sup>, а в настоящее время занимает скромное место далеко позади ФРГ, пришла в относительный упадок. По ту сторону Ла-Манша уровень экономического роста снизился по крайней мере вдвое по сравнению с

ФРГ или Францией. Относительная медлительность экономического роста, разумеется, не защищает британскую нацию от проблем, которые они охотно списывают на нестабильность, возникшую в результате слишком быстрых изменений. За исключением автономных областей, Шотландии и Уэльса, британцы не ведут оживленных дебатов, утрачивая — возможно, неосознанно — свой традиционный порядок и не представляя сколько-нибудь отчетливо черты нового.

Демократия характеризуется прежде всего двойной системой представительства — профессионального и партийного; профсоюзами и партиями, если угодно. Превосходство вторых над первыми логически вытекает из суверенитета Палаты общин; преобладание проявляется прежде всего в том, что партии ссылаются на *идеи*, тогда как профсоюзы защищают *интересы*. Но в действительности все происходит так, словно производится разрушение иерархии.

В наших смешанных экономиках, особенно в английской, где государство несет более 50 % всех расходов, уровень заработной платы не подчиняется больше законам рынка; он устанавливается скорее в зависимости от относительного могущества олигополий. Профсоюзные руководители, побуждая массы к действию, выдвигая чрезмерные требования, обрекают на поражение легитимное и легальное правительство. Е. Хит, боровшийся против шахтерских профсоюзов, проиграл выборы. Как поведет себя кабинет консерваторов: воспользуется нейтральностью профсоюзов с самого начала дебатов или столкнется с немедленной угрозой вето? Уже по тому, как ставится этот вопрос, мы обнаруживаем новое противоречие в партийном представительстве.

Еще 15 лет тому назад политологи задавались вопросом, какой смысл в этом представительстве, если две партии обнаружили свою близость друг другу, о чем любезно поминалось то мистером Батскилом (или Гейтскилом), то мистером Гейтслиром (или Батлиром)? Ничто не свидетельствует нам о том, что две партии существенно разошлись, хотя дистанция между Вилсоном

(или Каллахеном) и Хитом (или г-жой Тэтчер) определенно увеличилась. Последние годы еще лучше обнаружили право профсоюзов на вето (функцию народных трибунов), что ставит под вопрос суверенность Палаты общин и создаваемого ею кабинета министров.

Чтобы подобная функция трибунов у профсоюзов не парализовала государственную власть, надо ли, чтобы она осуществлялась «ответственно», иначе говоря, с учетом общественного интереса, а не только интересов того или иного сектора? При этом кое-кто задается вопросом: зачем останавливаться на полпути, держаться конституционных фикций, игнорируя действительно существующее разделение властей? Если уж Шотландия и Уэльс получают посредством писаного закона часть власти, сконцентрированной в Вестминстере, то не следует ли освятить таким законом и сделать легальной практику профсоюзов, сознавая их роль и признавая ее законной?

В 1965 г. я отстаивал мнение, что Пятая республика все еще сохраняла свое место среди либеральных демократий, несмотря на угасание парламентских партий при сохранении профсоюзных организаций. В 1976 г. я склоняюсь к тому, что либеральные демократии находятся под угрозой, особенно в Великобритании, в силу чрезмерного могущества профсоюзов. Ослабление парламентов — всего лишь обратная сторона усиления профсоюзных организаций. Пока что последние почти не пытаются влиять на правительственную политику, не считая вопросов управления экономикой. Даже удивительно, что они еще не начали это делать.

Во Франции 1976 г. проблема демократии тоже стоит иначе, чем в 1965 г. Конституция 1958 г., пересмотренная в 1962 г., гарантирует длительный период политической стабильности, прерванный на несколько недель событиями мая 1968 г. словно лишь для того, чтобы напомнить, что французы остаются самой непредсказуемой европейской нацией. В 1976 г. Конституция и закон о выборах привели к логическому результату. На мажоритарных выборах в два тура радикальные, особенно социалистические, кандидаты имели шанс одержать

верх при повторном голосовании только при наличии поддержки коммунистов. Франсуа Миттеран реконструировал социалистическую партию, доведя альянс с Коммунистической партией до подписания совместной программы. С тех пор партийное представительство дает французам простую и жесткую альтернативу: либо большинство, либо социалистически-коммунистическая оппозиция. Никто больше не вспоминает об упадке партий или о деполитизации. Напротив, вновь опасаются Веймарского синдрома, иначе говоря, прихода к власти партий, по сути своей враждебных существующему порядку, управление которым доверяет им электорат.

Представительная демократия выражается в нашу эпоху через соперничество партий — победитель в этой конкуренции на время получает возможность управлять страной. Такой способ назначения носителей власти вызывает (в зависимости от обстоятельств) три разновидности критики или беспокойства. 1) Дает ли подсчет бюллетеней четкое и связное большинство? 2) Затрагивает ли партийная борьба по-настоящему важные, серьезные проблемы, стоящих перед нацией? 3) Принимают ли главные партии правила игры? Четвертая республика стала жертвой не только алжирской войны, но и негативного ответа на первый вопрос: партийная конкуренция, организованная Конституцией и электоральным законом, не создавала способного управлять правительства. На второй вопрос я отвечаю утвердительно в третьей главе этой книги, особенно если говорить об американской демократии. Третий вопрос определяет ближайшее будущее Европы, поскольку и Коммунистическая партия в Италии, и социалистически-коммунистическая коалиция во Франции, кажется, стоят на пороге власти.

Ситуация совсем иная, чем в тридцатые годы, но она ничуть не меньше показывает неуверенность в себе современной демократии (как, вероятно, всякой демократии). Есть люди, которые заменяют слово «неуверенность» словом «противоречие». Выборы правителей посредством соперничества между группами и индивидами должны рождать власть, которой все подчиняются, которую все

почитают. Выбранный половиной французов, Валери Жискар д'Эстен должен быть президентом всей нации. Чтобы так оно и было, за неимением священной Конституции, сохранившейся лишь по ту сторону Атлантики, в США, нужно, чтобы оппозиция, избиратели (да и их избранные), каким-то образом признали бы кандидата, против которого боролись и продолжают бороться. Неудивительно, что в подобных условиях наблюдатели сетуют то на *деполитизацию* и *Веймарский синдром*, то на безразличие избирателей (ведь смена команды не означает смены политики), то на риск шагнуть в неизвестность, к которой привело бы реальное участие в государственной власти партии, отчасти связанной с военной или идеократической империей и откровенно презирающей так называемые демократические институты Запада, — институты, которые якобы без всяких оговорок принимают ныне Э. Берлингуэр и Ж. Марше.

\* \* \*

И партии парламентского большинства, и коммунистическая партия выдвинули свои проекты законов, касающихся свобод. Правительство учредило комиссию, люди, близкие к Социалистической партии, издали небольшую книжку, на которую я уже неоднократно ссылался. Историки не единожды обращали внимание на то, что инициативы пацифистов множатся вместе с приближением великих боев. Гагская конференция, говорили циники, была объявлением войны, которая разразилась через двадцать лет. Французы слишком много говорят о свободе, чтобы можно было за нее не опасаться.

Действительно, в нынешнем 1976 г., как и во вчерашнем 1965 г., свободы, характеризующие современные общества, кажутся мне в основном сохраненными, вопреки тому, что пишет в своей книге «Покинутые свободы» Роже Эррера<sup>99</sup>.

Конечно, каждый может с легкостью указать на недостатки, которыми страдают наши свободы. Достаточно вспомнить о свободе — безопасности, о функционировании правосудия. Нет ничего проще, чем пообещать

приближение к идеализированной практике британской модели. Так, общая программа социалистов и коммунистов гласит: «Режим *habeas corpus* будет провозглашен, уважение принципа презумпции невиновности гарантировано... Досмотр, взятие на месте преступления и власть судебной полиции и префектов будут упразднены, поскольку, согласно закону от 17 июля 1970 г., они наносят ущерб свободе личности». Та самая партия, которая на протяжении более полувека видела в каждом намеке на ГУЛАГ проявление антисоветизма, восхваляет теперь принципы британской юстиции.

Чтобы этим принципам соответствовать, Франции, конечно, еще есть над чем поработать. Даже если забыть о крайностях, которых, увы, было слишком много во время каждого из кризисов Республики, Освобождения или войны в Алжире, юристы с полным основанием сетуют на *Cour de Sûreté de l'État*<sup>100</sup> с его исключительными полномочиями, они указывают также на зависимость магистратов от политической власти, задающей условия их деятельности, наконец, они жалуются (по крайней мере некоторые из них) на то, что вопросы о соответствии законов правам человека редко доходят до Верховного Суда, а права Конституционного Совета ограничены. «Полицейские жестокости» тоже поминаются в обвинительной речи Роже Эррера (который все же отмечает: «Нет смысла говорить о том, что при огромном множестве дел жестокость имеет место только в очень редких случаях»).

Я сомневаюсь, что какая-либо партия во Франции станет отстаивать идею верховенства судей в духе американской Республики. Препятствовать деятельности юстиции там — преступление даже для президента США. За замалчивание сомнительного дела, в котором замешаны специальные службы, во Франции отвечает *raison d'Etat*, и это никого не удивляет и не вызывает скандала. Генерал де Голль на одной из своих пресс-конференций даже заявил, что само правосудие исходит от президента Республики. Ни Жорж Помпиду, ни Жискара д'Эстен таких высказываний не делали; и в то же время ни тот,

ни другой не говорили о «независимости магистратуры» (разве что, сжав губы в презрительной усмешке). Когда Жорж Помпиду мог ожидать повестки судебного следователя по делу Марковича, он ни на секунду не усомнился (как и весь политический класс) в том, что министрам достаточно сказать одно слово, чтобы избежать такого вызова, — даже предположив, что своим происхождением эта повестка также обязана решению министра.

Стоит ли мечтать о магистратуре, которая была бы самоуправляемой организацией, которая не подчиняется правительству в вопросах назначений или служебных продвижений, опирающихся на строгие правила или выборы пэрами? Признаюсь, что пример университета внушает мне опасения и даже беспокойство по поводу успеха такой реформы. «Политизация», которой начинает подвергаться *синдикат магистратов*<sup>101</sup>, и это далеко не тайна, показывает всю угрозу подобной независимости. Преподаватели марксистско-ленинских убеждений не хотят подчиняться государству, но они вовсе не отделяют себя от своей партии или от своей идеологии, когда преподают или избирают коллег. Более того, магистраты, по их собственному признанию, совершают политический акт, когда вершат правосудие.

Безусловно, всякое правосудие в каком-то смысле есть политика постольку, поскольку она применяет законы, принятые парламентом, в котором доминируют представители привилегированных слоев; оно относится к политике и потому, что судья интерпретирует закон согласно своему пониманию и в соответствии с идеями, доминирующими в данном обществе. Рассмотрим право собственности, как оно фигурирует в нашем законодательстве; оно является составной частью «общественного выбора», а сам выбор есть политический акт *par excellence*. Из этого можно сделать следующий очевидный вывод: следуя писаному праву, магистрат совершает политический акт. Софистика сменяется очевидной небеспристрастностью, когда магистрат начинает толковать законы в зависимости от личных или партийных интересов, по собственному выбору привлекая присяжных.

*Синдикат магистратуры* интересует нас потому, что он ярко высвечивает ту альтернативу, которая воспроизводится в различных секторах национальной жизни и компрометирует либеральные мечты французов. Магистраты и преподаватели пользуются преимуществами статуса чиновников<sup>102</sup>; журналисты бывшей ORTF<sup>103</sup> не пользуются ими, но их наниматель, будь он публичным лицом или нет, обращается с ними так же, как это делал бы частный наниматель. Реформаторы, которые берут за образец Великобританию или США, не признают коренного различия между статусом судьи-чиновника и статусом английских или американских судей, между традицией римского права и традицией *common law*, между тем, что подразумевается под независимостью магистратов во Франции, и тем, что подразумевается под независимостью судебного процесса, вплоть до Верховным Судом, в США. Самоуправление бюрократического аппарата во времена накалившихся страстей не обязательно благоприятствует спокойному осуществлению правосудия.

Независимость телевидения, иначе говоря тотальная свобода самовыражения всех журналистов, не гарантирует преобладания требуемых качеств: объективности, или, если угодно, честности информации, равномерного распределения эфирного времени между различными школами и направлениями мысли, между различными событиями. Контроль за телевизионными новостями, практиковавшийся в Четвертой и Пятой республиках, свидетельствует и о наивности, и о произволе. Сегодняшний порядок вещания со своими тремя каналами, возможно, не благоприятствует свободному поиску или творчеству, но, на мой взгляд, он расширил время и место для оппозиции. При наличии государственной монополии я сомневаюсь, что телевидение когда-либо сможет быть беспристрастным к оппозиции, сумеет избежать скрытой цензуры или самоцензуры журналистов. Но все партии — *во имя свободы* — защищают и оправдывают эту монополию.

Нет недостатка в критике, говорящей о нехватке или ущемлении всех свобод: индивидуальных или



коллективных, политических или социальных. Список, длина которого зависит от личных идеалов каждого, не позволяет отрицать очевидное: фундаментальные свободы политического порядка (свобода высказывания, религии, мнения, свобода участия в общественных делах через выборы) — всем этим французы располагают. Социальные свободы — право на здоровье, на образование, на создание профсоюзов — имеются у французов в такой же степени, но они кажутся еще более несовершенными, чем политические, поскольку предполагают недостижимое равенство. В действительности политические свободы не принесут большего равенства, чем свободы социальные, стоит нам перейти от свободы от запрета к свободе к отсутствию препятствий.

Один из моих коллег под конец своей жизни забрасывал меня письмами и открытками, направленными против моих статей: что значит свобода прессы, писал он, когда вы пользуетесь трибуной, но никто не публикует моих откликов? Сын сельскохозяйственного рабочего не имеет той же свободы — способности получить высшее образование, какой располагает сын преподавателя; социальная среда препятствует ему в этом в той мере, в какой умственное развитие зависит от этой самой среды. Точно так же и женщина не имеет той же свободы — способности возвыситься до руководящих постов, поскольку предрассудки и обычаи склонны сохранять эти посты за мужчинами.

Как и прочие, я не делаю из этого того вывода, что следует провести радикальное различие между свободой от запрета и свободой — отсутствием препятствий, между свободой-правом и свободой — действительной возможностью. Все мы с известными ограничениями принимаем, что каждому надо предоставлять минимум средств, необходимый для реализации всеми признанных свобод; подчеркну еще раз — при некоторых ограничениях. Требования равных возможностей для детей из всех социальных классов, т. е. равной возможности поступить в Политехническую школу; либо требование для женщин равной свободы — способности продвижения по служебной

лестнице — это требования всегда неудовлетворенные, требования, которые невозможно удовлетворить. И принадлежат они не либерализму, а доктринерскому эгалитаризму.

Либерализм заимствует из того, что я называю в этой книге социалистической критикой, желание обеспечить всем равные возможности, позволить всем наслаждаться фундаментальными правами. Под исключительное определение свободы через способность или возможность не подвести то определение, которое ведет к совпадению свободы и равенства. В список фундаментальных свобод входит свобода предпринимательства, поскольку общество движется вперед благодаря инициативам, инновациям, а люди, способные сойти с проторенной дорожки и пойти на риск, так редки. И вовсе не нужно противопоставлять социалистические общества на Востоке, где царит равенство без свободы, капиталистическим обществам Запада, где за свободу надо платить неравенством. Лучше было бы сказать: социалистические общества не осуществили равенства, к которому стремились, зато уничтожили все наши свободы, личные и политические. Пусть их пример послужит нам уроком: все люди имеют одинаковое право на уважение; ни генетика, ни общество никогда не смогут обеспечить всем равную способность достигнуть превосходства или первого ранга. Доктринерский эгалитаризм тщетно пытается перебороть природу, будь она биологической или социальной; он ведет не к равенству, а к тирании.

## П Р И Л О Ж Е Н И Е

I. Цифры взяты из коллективного исследования 1985 г., но исследователи сами ссылаются на работы Милтона Гилберта и OCDE. Исследование подтвердило годовой рост производительности в человеко-год (расчет основан на сокращении продолжительности рабочего дня) в период 1950—1960 гг.: на 4,7% в сельском хозяйстве, на 4,5 в промышленности, на 3,3 в обслуживании. Сходные проценты даются на период с 1960 по 1985 г. (4,7; 4,2; 3,5).

Уже в период с 1949 по 1959 г. проявилось неравенство в процентах роста производительности в человеко-год. В промышленности, например, процент был равен 7,1 в Италии и 2,1 в Великобритании, а между ними 5,6 — в ФРГ, 4,5 — в Нидерландах; 3,7 — в США.

Каково сегодня соотношение между валовым национальным продуктом на жителя Франции и ВВП на американца? Нет исследования, сравнимого с исследованием Милтона Гилберта, принявшего во внимание различные системы цен в этих странах. Флуктуации процентов обмена делают сравнение неточным, ненадежным. Что несомненно — это то, что прогресс был более быстрым во Франции, чем в США, и что разрыв существенно сократился. Франция стала третьим экспортером в мире (или четвертым, если Япония ее обойдет). Вплоть до кризиса 1974 г. она быстро приближалась к американскому ВВП на жителя, хотя, согласно принятым процентам обмена, она еще довольно далеко от него.

II. Выражение «конец идеологий» стало предметом значительного количества исследований. Основные тексты можно найти в книге Чайма Ваксмана «Окончание идеологического спора», Нью-Йорк, 1968. Бесспорно, что конец идеологий имеет значение только в случае четкого и точного определения термина идеологии. Я понимаю под этим глобальную систему интерпретации

исторической реальности. Я почти не представлял себе системы, способной заменить марксистско-ленинскую систему, но обнажение советской реальности, которым мы обязаны Н.С. Хрущеву, постепенно лишило ее безусловной преданности сторонников по всему миру. С тех пор многие статьи были мной посвящены этой теме, особенно «Заметки о новой идеологической эпохе» в «Contrepoints», № 9.

III. Исключение, которое я называл «преходящим и наглядным», исчезло. Госпожа Индира Ганди, находясь под угрозой судебного приговора, который обвинял ее в ошибке во время выборной кампании, в общем-то простительной, использовала некоторые положения конституции, чтобы подавить свободу прессы, посадить в тюрьму руководителей оппозиционных партий. Возможно, завтра она приступит к новым выборам, которые обеспечат ей покорную ее воле ассамблею. Не меняя текст конституции, она привела свою страну от демократии, в западном смысле термина, к исключительному режиму, диктаторскому, в римском понимании, если он не продлится долго, и деспотическому, если продлится.

Правда, оппозиция, состоящая из многочисленных партий, не могла найти замены правительству; госпожа Ганди может оправдать себя тем, что она и ее партия смогли воспрепятствовать хаосу, к которому двигалась страна. Благодаря своему могуществу, она приняла некоторые меры, способствующие всеобщему благу, которым противились частные интересы. Однако кажется, что она злоупотребила властью и отныне ненавидит свободу прессы, как и все западное наследство. Второе поколение ненавидит то, чем первое восхищалось и чему хотело подражать.

IV. Пражская весна 1968 г. дает тот же урок. В Чехословакии либеральное настроение проявилось прежде всего внутри самой партии. Дубчек был введен в секретариат фракцией, которая с самого начала хотела

реформировать управление экономикой и «либерализовать» духовную и политическую жизнь. Здесь, так же как и в Венгрии, но без насилия, это движение избежало господства инициаторов и интеллектуалы почувствовали прелесть полной свободы. Новый курс был непереносим для Советского Союза. Его жители допускают существование частной собственности в польском сельском хозяйстве, но они и помыслить не могут о том, чтобы свобода прессы не была ограничена руководящей ролью партии. Свобода, которая позволяет говорить все и называть кошку кошкой, — да это смертельная угроза!

V. Британские власти вот уже 5 лет начинают исследование перераспределения доходов, соответствующего налогу на прибыль. Последние пятилетние исследования относятся к 1964—1965 и 1969—1970 гг., годовые исследования к 1970—1971 и 1971—1972 гг. Изменение стоимости ливра отнимает у текущих в ливрах сравнений всякое значение. Тем не менее в тексте первого издания даются некоторые подобные указания.

На общее число заданных доходов (в тысячах) 21 188 в 1964—1965 гг., количество доходов, превышающих 10000 ливров, доходило до 27,6; число доходов, превышающих 20000, — 5,8; эти две цифры меняются на 42 и 8 в 1969—1970 гг., 51 и 8 — в 1970-71 году, 58 и 10 в 1971—1972 гг. Эти две категории вместе платят в 1964—1965 гг. 339,3 миллиона ливров на доход, равный 562,2. Высшая категория, свыше 20000 ливров, сохраняет 51,3 миллиона на общую сумму до взимания налога, равную 198,5, взимание 147,2 не оказывает сильного влияния на общую сумму налогового сбора, равную 2772,9. Ситуация не меняется и в 1969—1970, когда взимание с 8000 доходов, превышающих 20000 ливров, составляет только 64,4 на общую сумму, равную 264,5. В годовом отчете 1971—1972 гг., категория доходов, превышающих 1000 ливров насчитывала 58000 налогоплательщиков; доходов, превышающих 20000 ливров, — 10000; первая из этих категорий платила 354 миллиона ливров на 756,9, вторая — 218,4 на 324,9, но эти

цифры должны быть сопоставлены с общей суммой в 6356 миллионов ливров, которые взимаются в национальную казну со всех налогоплательщиков.

В 1971—1972 гг. между 600 и 3000 ливров находятся 19006 налогоплательщиков на общее число 20970. На общую доходность 4356 ливров: доходы ниже 1000 ливров — более 5 миллионов налогоплательщиков, которые платят 350,7 миллионов ливров (что составляет почти столько же, сколько платят и 58000 человек, получающих доход от 10000 до 20000 ливров). Доходы от тысячи до 10000 ливров (чтобы получить эквивалент в новых франках, надо умножить цифры на 12) составляют приблизительно 85% от общего числа доходов. Доходы выше 10000 ливров — 472,4 миллиона, что существенно меньше, чем 10% от общего числа 6356. Взимание налога с лиц, получающих доход, превышающий 20000 ливров, выполняет скорее психологическую и политическую функцию, чем экономическую.

VI. Майкл Харрингтон во введении, которое он написал для нового издания своей книги, вновь обращается и утверждает свою тему с пессимистическими уточнениями для 1970-х гг. по поводу возможного роста безработицы.

Инфляция, свирепствовавшая в Соединенных Штатах в течение последних лет, сделала трудным вычисление минимального дохода, за чертой которого начинается бедность. В равной степени становится трудным подсчет и взимание налога с «негативных» доходов, иначе говоря, государственные взносы с тех лиц, чей доход падает ниже установленной цифры.

Количество «бедных» зависит, очевидно, от более или менее произвольного решения. Неопровержимо, однако, то, что все крупные индустриальные и урбанизированные общества имеют, в не зависимости от своего уровня производства и производительности, островки относительной бедности. Этническая гетерогенность Соединенных Штатов, характерные свойства урбанизационного процесса, оставление городов буржуазией — все это

обостряет проблему. Я сомневаюсь в том, что негативный налог на прибыль является ее решением. М. Харрингтон резюмирует свою тему и свою программу в следующих фразах: «Вместо того чтобы институционализировать федеральный минимум, значительно меньший, чем черта бедности, Соединенные Штаты должны были бы принять принцип, что все граждане имеют законное право на личный доход». В данный момент речь идет только о программе, которая в крупных партиях принимается нерешительно и они не знают, как ее осуществить.

VII. Статистические данные, которые я собирал для первого издания этой книги, очевидно, более не отражают настоящей ситуации. В промежуток между началом шестидесятых годов и второй половиной семидесятых имел место период быстрого экономического роста, который завершился в 1973 г., а затем период инфляции, ускоренный, преследуемый или сопровождаемый спадом.

Итоги, которые можно вывести из недавних цифр, не сильно отличаются от тех, которые выводились из цифр первого издания. Рост производства влечет за собой общий подъем уровня жизни населения. Но он не влечет изменения отношения между прибылью капитала и прибылью труда, или, по крайней мере, это отношение подчиняется более или менее циклическим флуктуациям, не переходящим в одно или другое состояние.

Общий подъем уровня жизни неизбежно приводит к увеличению промежуточных слоев доходов, иначе говоря, доходов, позволяющих буржуазное или мелкобуржуазное существование. Количество семей в странах Запада, имеющих телевизор, стиральную машину и автомобиль, достаточно убедительно свидетельствует об этом. Это говорит о том, что доля от 5 до 10% налогоплательщиков, имеющих самый высокий доход, уменьшается очень медленно или вовсе не уменьшается, в то время как доля нижних 15 или 10% не увеличивается или увеличивается очень медленно. Концентрация богатства или достояния, в особенности движимого

имущества, остается очень сильной. Зато в настоящее время во Франции примерно каждая вторая семья владеет собственным домом.

Таблица перераспределения прибыли согласно налоговой статистике США, которую читатель найдет в конце этой заметки, свидетельствует, несмотря ни на что, о сокращении неравенства, по крайней мере соответственно данному способу вычисления. В долгосрочной перспективе перераспределение доходов становится во Франции и Великобритании точно так же, как и в США, менее неравным: разница между зарплатой чиновника, занимающего низшую ступень иерархии, и государственного советника, представляла в 1850 г. совершенно иную величину, чем в 1950 или в 1976. Внутри, например, сословия преподавателей профессор исключительного класса в конце карьеры получает жалование, превышающее всего в 4 или 5 раз жалование преподавателя второго уровня. Даже во Франции, где веер доходов более развернут, чем во всех других странах с подобным уровнем развития, разрыв между подножием и вершиной сокращается. Отношение остается, тем не менее, 1 к 40, если учесть две или три самые высокие зарплаты. Если взять среднее от 5—10% самых высоких зарплат, отношение к 5—10% самых низких будет совсем другим: 3 (или 4, 5 в зависимости от случая) к 1, а никак не 40 или 50 к 1.

В США, и в меньшей степени, в Европе ведутся споры о том, что называть бедностью, иначе говоря, о количестве и условиях жизни людей или семей, доход которых ниже того, что признан необходимым для нормального существования. Изменилось ли это число за последние 15 лет? Ответ прежде всего зависит от избранного нами порога бедности, он зависит также от состояния конъюнктуры. Достаточно того, что замедляется экономическая экспансия, увеличивается уровень безработицы, чтобы оказать сокрушительное воздействие на молодежь, на черных, на пуэрториканцев, короче, на те группы, которые представляют более чем пропорциональную часть бедных. Вот некоторые официальные цифры, взятые из "U.S. Bureau of the Census".



В долларах 1974 г. процент семей, чей доход был ниже 3000 долларов среди белых снизился с 15,3 до 4,3; в период между 1950 и 1974 гг. среди черных и других цветных процент снизился с 39,8 до 13,5; более крупная доля с доходом от 3000 до 4000 долларов тоже уменьшилась: с 14,5 до 6,8 среди белых, с 25,4 до 16 для других. Процент семей с доходом свыше 10000 долларов увеличился для белых с 26,1 в 1950 до 67,2; для цветных с 5,7 до 41,3. Неравенство между белыми и черными продолжает существовать; уровень жизни тех и других прогрессировал, у черных быстрее, потому что исходный пункт был гораздо ниже.

Нужно ли возмущаться, что еще существуют «бедные» в США или восхищаться продолжительностью эволюции? Денонсировать концентрацию богатства или диффузию доходов? Каждый реагирует по-своему. Что неопровержимо — это то, что независимо от предыдущих цифр перераспределение доходов по квинтилям не сильно изменилось в период между 1947 и 1974 гг.; на первую дату это было 5,1; 11,8; 16,7; 23,2; 43,3 (17,5 для 5% самых высоких доходов). В 1974 г. цифры соответственно равняются 5,4; 12; 17,6; 24,1; 41 (15,3 для высших 5%). В то же время между этими двумя датами высшая граница каждого в квинтилях в долларах 1974 г. изменилась от 3407 до 6500, с 5664 до 10722, с 7664 до 14916, с 10881 до 20445 для четырех нижних квинтилей.

Во Франции спор по поводу неравенств принимает две формы или ведется по двум темам: является ли перераспределение доходов во Франции более неравным, чем где либо еще, во всяком случае среди стран с тем же уровнем экономического развития? Создает ли французская налоговая система дополнительные неравенства или привилегии? Публикация OCDE статьи о неравенстве доходов, написанной английским экономистом Малкольмом Соуэром, вызвала протест французского правительства из-за того, что оппозиция по-своему использовала результаты этого исследования.

Результатам нехватало правдоподобности. Никто не спорит, что неравенство во Франции сильнее, чем в ФРГ

или в Великобритании. Что оно больше, чем в Испании или в Италии, — нужно обладать верой угольщика в статистике, чтобы в это поверить хотя бы на мгновение. Ошибка, которую допускает более опытный статистик, заключается в том, что он начинает с уточнения концепций и сравнения данных абсолютно гетерогенных. Для всех стран, кроме Франции, статистик использует цифры, полученные с помощью опросов о доходах; в случае Франции он использует налоговую статистику. Достаточно заменить анализ опросов налоговой статистикой, чтобы получить совершенно другие результаты.

Например, разрыв между верхней границей первого дециля и нижней границей десятого дециля выражается в отношении от 1 до 10; по доходам, указанным в анкете «бюджет семьи», того же года разрыв составляет всего 1 к 6,25. Точно так же отношение массы доходов, которая относится к первому децилю к массе, относящейся к высшему децилю, доходит до 20,6, согласно налоговой статистике, и 14,6 — согласно опросам семей. Достаточно принять эту последнюю цифру, и Франция оказывается в среднем ранге.

Меры неравенства доходов согласно одному и другому из двух коэффициентов, например согласно коэффициенту Джини, зависят прежде всего от массы доходов, относящихся в первому или двум первым децилям, с одной стороны, и от высшего дециля — с другой. Нижний дециль включает в себя в важном процентном соотношении мелких сельскохозяйственных собственников и пожилых людей, в частности жертв инфляции. Объем этих двух категорий, выражение определенной социальной структуры влияет на неравенство таким образом, что оно измеряется различными коэффициентами. У меня перед глазами работа специалиста по перераспределению доходов — Питера Вилса, которая совершенно противоположна работе его соотечественника, Малкольма Соуэра, и говорит о том, что в сегодняшней Франции неравенство меньше, чем считают даже сами французы. Коэффициент измерения неравенства, который казался ему самым значительным, — отношение между доходом, образующим нижнюю границу

## ПРИЛОЖЕНИЕ

последнего дециля, и высшим доходом первого — увеличился всего лишь в 5 раз, т. е. это величина того же порядка, что и в Великобритании.

Прямые сравнения, предприятие с предприятием, показали, что во Франции кадры одновременно более многочисленны и лучше оплачиваются, чем на подобных им немецких предприятиях. Французская система социального страхования, основанная на принципах гарантии, ведет к перераспределению, благоприятному для средних и высших средних кадров, потому что они извлекают выгоду «с потолка» (иначе говоря, платят взносы, не пропорциональные их зарплатам) и пользуются медицинскими услугами больше, чем работники более низкого уровня.

### СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Семьи		1936	1944	1958	1960	1965	1970	1974
первые	20%	4,1	4,9	4,7	4,8	5,2	5,4	5,4
вторые	20%	9,2	10,9	11,1	12,2	12,2	12,2	12
третьи	20%	14,1	16,2	16,3	17,8	17,8	17,6	17,6
четвертые	20%	20,9	22,2	22,4	23,4	23,9	23,8	24,1
пятые	20%	51,7	45,8	45,5	41,8	40,9	40,9	41

VIII. На первый взгляд, британская система, кажется, напоминает систему 1976 г. Со времени первого издания этой книги и консервативная партия избрала своего вождя, и королева потеряла свою, может быть последнюю, прерогативу собственно политического характера, которой обладала с момента отставки Мак-Миллана. Более того, партия консерваторов отказалась переизбрать Эдварда Хифа после двух провалов последнего на выборах. Имел место референдум по поводу вступления на объединенный рынок. Но скорее не эти незначительные изменения разрушили британский режим, долго считавшийся образцовым; разрушило его то, что на деле Палата общин стала театром теней, и партия, находящаяся у власти, не имеет реального большинства в стране. Экономический спад повлек за собой политический

декаданс, если, конечно, не считать обратным это причинно-следственное отношение. Я сомневаюсь, что Объединенное Королевство выйдет из кризиса, пока общественное мнение не признает бесполезности правительства, не опирающегося на большинство в стране, не имеющего поддержки этого общественного мнения.

IX. Мне, может быть, укажут, что закон, который я называю «неприменимым», применим на самом деле к системе квот, имеющейся к некоторым организациям или на некоторых предприятиях. В общем-то, я считаю, что дискриминация в пользу меньшинств, которые раньше страдали, возможна. Некоторые университеты высокого класса упрощают условия поступления для черных студентов. Равно как и для набора преподавателей. Во Франции тоже присутствие женщин в министерском составе становится, так сказать, обязательным. Но эти виды дискриминации «в обратном смысле» не являются объектом законодательства и не могут им быть. В законе никогда не напишут, что сыну рабочего полагается в два раза больше, чем сыну высшего служащего, за одно и то же достижение.

Добавим, что в любом случае прогресс, достигнутый за последние 15 лет в Соединенных Штатах в сфере «расовой интеграции», превосходит надежды эпохи Кеннеди. Верно и то, что прогресс создает новые требования согласно закону Токвиля: неравенства становятся более нетерпимыми по мере того, как они уменьшаются.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. *Rene Remond* Les Etats-Uni devant l'opinion française. 1815—1852. Paris: 1962.
2. Основатели американской Конституции.
3. *Алексис де Токвиль*. Демократия в Америке. М., 2000. С. 203.
4. Там же, С. 505.
5. *Алексис де Токвиль*. Демократия в Америке. М., 2000. С. 408. (В случаях наличия русского перевода работ Токвиля, мы отсылаем читателя к ним. При отсутствии таковых, ссылки соответствуют авторским. — Прим. ред.)
6. Там же.
7. *Алексис де Токвиль*. Старый порядок и революция. М., 1997
8. *A. de Tocqueville*. Etat social et politique de la France avant et depuis 1789. Oeuvres complètes [O.C.], Т. II. Р. 62.
9. *Алексис де Токвиль* Старый порядок и Революция М., 1997. С. 8.
10. Там же. Сс. 8-9.
11. *Tocqueville, Etat social et politique...*, О. С., Р. 62
12. В главе XI под названием «О своеобразии свободы при Старом порядке и ее влиянии на Революцию» второй книги *Старого порядка и Революции*.
13. *Алексис де Токвиль*, Старый порядок и Революция, М., 1997, С. 91.
14. Там же, С. 97.
15. В том значении, которое вкладывал Монтескье, имея в виду чувство, благодаря которому режим способен процветать.
16. Этот отрывок, найденный среди комментариев Токвиля, был опубликован Ж.-П. Майером (J.-P. Mayer) в *N.R.F.* от 1 апреля 1959 г. и в *Revue internationale de philosophie* (1959), 49, вып. 3.
17. *Алексис де Токвиль*, Демократия в Америке. М., 2000. С. 390.
18. Там же. С. 392.
19. Речь муниципального советника Уинтропа, процитированная Токвилем. О.С., I, 1, 1-er p., chap. II, Р. 41.
20. См. главу об Алексисе де Токвиле, написанную Р. Ароном, в кн. *Les Etapes de la pensée sociologique*. Paris: Gallimard, 1967 (выпущенную в серии "Bibliothèque des Sciences humaines"), новое издание — Collection Tel, 1976. — Прим. франц. изд. 1977 г.
21. *Алексис де Токвиль*. Старый порядок и Революция. М., 1997. С. 99.
22. *Alexis de Tocqueville*. L'Ancien Régime et la Révolution//О.С., II, 2, livre II, chap. I, texte № 8.
23. *Алексис де Токвиль*. Старый порядок и Революция, М., 1997. С. 88-89.

## ПРИМЕЧАНИЯ

24. Карл Маркс, К критике гегелевской философии права// К. Маркс, Ф. Энгельс, *Сочинения*, т.1. М., 1955. С. 252.
25. Там же.
26. Там же. С. 254.
27. Карл Маркс, К еврейскому вопросу// К. Маркс, Ф. Энгельс, *Сочинения*, т. 1. М., 1955. С. 405.
28. По немецки: *buergerliche Gesellschaft*.
29. Карл Маркс. К критике гегелевской философии права. Введение // К. Маркс, Ф. Энгельс. *Сочинения*, Т. 1. М., 1955. С. 414.
30. Карл Маркс. К еврейскому вопросу // К. Маркс и Ф. Энгельс, *Сочинения*, Т. 1. С. 406.
31. Карл Маркс. К критике гегелевской философии права. Введение // К.Маркс, Ф. Энгельс, *Сочинения*, Т. 1. С. 422.
32. Карл Маркс, *Немецкая идеология* // К. Маркс, Ф. Энгельс, *Сочинения*, Т. 3. С. 70-71.
33. Карл Маркс, К критике гегелевской философии права // К. Маркс, Ф. Энгельс. *Сочинения*. Т.1. С. 255.
34. Прибыль ( $pl$ ), полученная исключительно от переменного капитала ( $c$ ), увеличение постоянного капитала ( $c$ ) по отношению к переменному капиталу ( $v$ ) явно влечет за собой уменьшение отношения  $pl/c+v$ .
35. Хочу напомнить, что этот текст был написан в 1963 г. (примечание 1977 года).

## ГЛАВА ВТОРАЯ

36. См. приложение I.
37. См. книгу Уолта Ростоу «Стадии экономического роста» (*Rostow W.W. The Stages of Economic Growth. A non-communist manifesto. Cambridge University Press, 1960. P. 179*).
38. См. приложение II
39. См. текст «Доклад Хрущева и его история» (1956-1976), представленный Бранко Лазич (Branko Lazitch), Paris, Seuil, Coll. Point, 1976. — Прим. франц. издателя (1977).
40. См. *La pensee captive, Essai sur les logocraties populaires* (с примечаниями Карла Ясперса), Paris: Gallimard, Coll. Les Essais, 1953.
41. The Road to serfdom, «Дорога к рабству» — название знаменитого сочинения Фридриха Августа фон Хайека, появившегося в 1944 г.
42. См. также: *Theorie du developpement et ideologies de notre temps* (1962) è *Theorie du developpement et philosophi evolutionniste* (1961), которые вошли затем в сборник *Trois essais sur l'age industriel*, Paris, Plon, 1966.
43. См. приложение III.
44. Под этим термином я подразумеваю сочетание правления, осуществляемого по конституционным нормам, и организованной борьбы за власть между индивидами и партиями.

## ПРИМЕЧАНИЯ

45. Во избежание недоразумений, я напомним, что на сторону алжирской независимости я встал еще много лет назад, задолго до прихода к власти генерала де Голля, когда такое мнение во Франции считалось еретическим.

46. The Constitution of liberty. Chicago: 1960. Pp.14-15. Экономист и философ, Фридрих А. фон Хайек родился в Вене в 1899 году. Он возглавлял Институт австрийской конъюнктуры с 1927 по 1931 год, был профессором в Лондонской школе экономики с 1931 по 1950 г., до 1962 г. — в Чикагском, а до 1969 г. — во Фрибургском университетах. Автор многочисленных сочинений по экономике и политической философии, среди которых: *Prices and Production*, (1931); *The Pure theory of Capital* (1941); *The Road to serfdom* (1944); *The Counter— revolution of science* (1952). В 1974 году был удостоен Нобелевской премии по экономике.

47. По крайней мере, активное меньшинство.

48. См. приложение IV.

49. Оптимизм, или попустительство был, в частности, поставлен под вопрос в двух книгах США: *Michael Harrington. Other America, Poverty in the United States*. New York: 1963; *Gabriel Kolko. Wealth and Power in America, An analysis of social class and income distribution*, New York: 1962. И в Англии: *Richard M. Titmuss. Income distribution and social change*. London: 1962.

50. Речь идет о проектах Комиссариата по планированию. Конечное личное потребление на человека с учетом изменения цен и курса доллара составляло 1 171 доллар во Франции — в 1964 г. и 2 873 доллара — в 1973 г. Для Соединенных Штатов данные соответственно таковы — 2 094 доллара и 3 843 доллара. (Источник: *O.E.C.D. Comptes nationaux 1974. Vol.I. P. 117*) — *Прим. франц. изд. 1977 г.*

51. *Economic trends*, сентябрь 1963 г.

52. Эти цифры можно проверить; см.: Titmuss. Op.cit.

53. См. приложение V.

54. *The Share of top wealth-holders in national wealth, 1922-1956*. Princeton University Press, 1962.

55. Согласно исследованиям Джеймса П. Смита и С. К. Калверта процентное соотношение изменилось с 23% — в 1965 году до 20% — в 1972 г. (См.: *Estimating the Wealth of top wealth-holders from estate tax returns*, Proceeding of the American statistical association, Philadelphie).

56. *Le Tiers-Monde au carrefour*, "Cahiers africains", n. 7- 8, в особенности т. II, Annexes, pp.34-37.

57. Harrington, Op. cit. P. 193.

58. Речь идет о семье из четырех человек. Число американцев, считающихся «бедными», колеблется между 32 миллионами, по оценке Лэмпмена, 41 миллионом по оценке американских профсоюзов и 50 миллионами по оценке *Bureau of Labor statistics*. По Харрингтону, оно составляет 40—50 миллионов. (Harrington. Op. cit. P.182).

59. См. приложение VI.

## ПРИМЕЧАНИЯ

60. Согласно последним статистическим данным — 12 миллионов чернокожих; следовательно, около четверти бедняков. См. приложение, примечание VII.

61. Charles Wright Mills, *The Power Elite*, N.Y.: Oxford University Press. 1956. P. 423.

62. John Kenneth Galbraith. *American capitalism. The concept of countervailing power*. London: 1952. P. 117.

63. Напоминаю еще раз: термин употребляется в европейском смысле.

64. Ф.А. Хайек объясняет в своей книге, что он не является консерватором и предпочитает определение «виг» (whig) по причине двусмысленностей, которые влечёт за собой сегодня слово «либерал». *F. A. Hayek. Constitution of Liberty*. Pp. 397—399.

65. Уместно напомнить, что эта книга, учинившая скандал в левых кругах «либералов» (в американском смысле), удостоила автора одобрительным письмом лорда Кейнса. Как и Маркс, который вряд ли признал бы себя марксистом, Кейнс, возможно не был бы сегодня кейнсианцем.

66. *Op. cit.*, p. 103.

67. Американский философ, родившийся в 1902 году, в настоящее время Research Fellow в Гуверовском институте, Стэнфордский университет. Среди многочисленных произведений укажем: *The ambiguous legacy: Marx and marxistes* (1955); *The paradoxes of freedom* (1962); *Education for modern man* (1963); *Education and the taming of power* (1975); *Pragmatism and the tragic sense of life* (1975).

68. *Op. cit.* P. 133.

69. *Op. cit.* P. 134.

70. *Op. cit.* P. 139.

71. *Op. cit.* P. 150.

72. *Op. cit.* P. 153.

73. *Op. cit.* P. 156.

74. *К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр. соч. Т. 23. Капитал Т. I. М. 1960. С. 778.*

75. *Цит. соч. С. 772-773.*

76. *Алексис де Токвиль, Демократия в Америке, М., «Весь мир», сс. 496-497.*

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

77. Объединение в поддержку республики. — *Прим. пер.*

78. Выборы 15 и 25 ноября 1962 года дали следующие результаты: 233 места — ОПР (против 175), 35 — «Независимым республиканцам» (полученные между двумя турами), 41 — коммунистической партии (против 10), 66 — социалисты (S.F.I.O.) (против 43), 55 — «Демократическому центру» и 39 — «Демократическому собранию» (26 из которого — радикалы). Коалиция ОПР пятой республики получила 36,3% избирательных голосов в первом туре и 42,1% во втором; ФКП — 21,8% и 21,3%, другие партии — 41,9% и 36,6% (заметки издателя).

79. См. приложение VIII.



## ПРИМЕЧАНИЯ

80. Депутаты, назначаемые в британских партиях вождями, парламентские организаторы партии, — *whips*, само название обозначает «кучер» или «курьер» а также указывает на хлыст, которым они обладают — они постоянно следят за сплоченностью и дисциплиной парламентских группировок, в особенности при важных голосованиях.

81. Написано в 1963 г.

82. Буквально: Комиссия целей и средств (налоги и пошлины, квоты импорта, коммерческие соглашения, Социальная Защита) — самая важная из 21 постоянно действующих комиссий (*Standing Committees*) палаты представителей и одно из главных учреждений законодательной федеральной процедуры (заметка редактора, 1977 г.).

83. Dans la collection des *futuribles*, La Constitution des etats unis en 1970, 20 juillet 1963, numero 860, *Futurible* numero 63.

84. Не безынтересно добавить, что президент Джонсон с легкостью преодолел те преграды, на которые натолкнулась реформаторская воля Дж. Ф. Кеннеди.

85. См. приложение IX.

86. «Социальная рыночная экономика» — политика, проведенная в жизнь в 1949 году Людигом Эрхардом, министром экономики при канцлере Аденауэре, которая и явилась причиной поразительного обновления экономики послевоенной Германии.

87. Эта фраза позаимствована у Мориса Дюверже, профессора факультета права в Париже, см. *Nef*, Paris 1963, numero 15, 20 annee, p. 114.

88. Они же противостоят почти монополистическому могуществу рабочих профсоюзов и одобряют сохранение прав штатов.

89. Например, в системе образования.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

90. *Oppenheim F. M.* Dimensions of freedom, an analysis. New York: 1961.

91. *Ibid.*, p. 118.

92. *Ibid.*, p. 120.

93. *Ibid.*, p. 120.

94. Выявление того, когда несвобода внутренне принимается или отвергается, представляет другую проблему, которую аналитическое определение намеренно оставляет без внимания.

95. *Де Токвиль, А.*, Старый порядок и революция, М., 1997, с. 9.

96. Речь идет о декларации, подписанной 14 августа 1941 г. Ф.Д.Рузвельтом и У.Черчиллем. В ней определялись общие цели войны с фашизмом и принципы послевоенного устройства мира. — *Прим. ред.*

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

97. *Robert Badinter.* Liberté. Libertés. Paris, Gallimard, 1976 (предисловие Франсуа Миттерана).

## ПРИМЕЧАНИЯ

98. Не беря в расчет Швецию и Швейцарию, сохранявших нейтралитет во время Второй мировой войны.

99. *Roger Errera. Les Libertés à l'abandon. Paris, Le Seuil, 1968.*

100. Судебная инстанция, возникшая в 1963 г. на базе Военного Трибунала, которая рассматривала дела, касавшиеся вопросов государственной безопасности, но выходившие за пределы собственно военного ведомства. Упразднена в 1981 г. — *Прим. ред.*

101. Синдикат магистратов или синдикат магистратуры (букв.: *Le Syndicat des magistrates, syndicat de la magistrature*) — судебный профсоюз. Магистрат — член судейского персонала, совершающий правосудие или требующий от имени государства исполнения закона. — *Прим. ред.*

102. Магистраты получают от этого не только выгоду.

103. Французская государственная теле- радиоккомпания. — *Прим. ред.*

**Раймон Арон**  
**ЭССЕ О СВОБОДАХ**

Перевод с франц. *Н.А. Руткевич*  
Редактор *О. Голова*  
Корректор *О. Трефилова*  
Оформление обложки *А. Кулагин*  
Оригинал-макет *Т. Сонникова*

Издательская группа «Праксис»  
ИД № 02945 от 03.10.2000

Подписано в печать 21.11.2004. Формат 84 x 108/32  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ. л. 7.0.  
Тираж 2000 экз. Заказ 3271

ООО «Издательская и консалтинговая группа «ПРАКСИС»,  
<http://www.praxis.su>  
<http://www.politizdat.ru>  
e-mail: [praxis@hotmail.ru](mailto:praxis@hotmail.ru)

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»»  
105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 46

Эта небольшая работа, как и предыдущие, относится к исследованию, которое я провожу уже давно, - исследованию современной цивилизации.

Я позаимствовал у мыслителей прошлого проблемы, которые актуальны и поныне, так как это проблемы вечные, но ответ на них я ищу в наблюдении реальности.

**Раймон Арон**